

КУ БИ КИ



Павел ПАРАМОНОВ

г. Суздаль

повесть

1

Полудни солнце перева-
лилось за крест колокольни и по жаркому воздуху спускалось в трепещущий чешуйчатый золотом затон изгибистой реки. С высокого берега — с этой единственной точки крутомола — можно было видеть погружение солнца в парную воду реки. Прокаленный до бурой окалины багровый шар припадает к далекой воде: сначала чуть коснется надутой щекой розовой ряби, словно пробует, тепла или холодна, потом блаженно погрузит половину лица, как жарколицый сельский тракторист, намаявшийся за день на горячей земле, подступит к воде и осторожно начнет погружение своего истомившегося тела в долгожданную воду.

Займется холщовая лента реки багровым окрасом, когда половина солнечной лепехи обмакнется в воду, и тихо-тихо будет уходить эта багровая простынка вслед за солнечным катышом, пока окончательно, мятым лоскутком не скользнет вслед за нырнувшим на дно реки солнечным горбыльком.

И занежит землю вечерний свет.

Свет вечерний — желтоватосерый, свет памяти, словно черно-белые фотографии из детства, охваченные желтизной времени.

На высоком берегу — кладбище. Слева от него — заливной луг,

отороченный рекой, справа, через колокольню до места захода солнца, — дальний загиб реки.

Две старушки медленно поднимаются по некоему взгорку. Одна за другой, шаг в шаг, словно одна ведет другую на веревочке. Обе коренастые, соразмерно полные. Там на вершине, в двух шагах от песчаного обрыва, могила их матери и отца. Ограды нет — на зеленом холмике железный крест, иссеченный дождями и обдутый прогонистыми ветрами.

Старушки замирают, переводя дух, затем вполнаклона молча начинают выдергивать ломкие прошлогодние прутьины рябинника, истыкавшие, словно серыми колючими стрелами, холмик с молодой бархатной травкой.

Старушки плачут. Каждая сама по себе, беззвучно, без всхлипов и причитаний. Слезы текут из слабых бесцветных глаз по изморщенным щекам, отлипают с подбородка мутные капли и падают на холмик.

Это моя мать и ее сестра — моя тетя. Они уже старше своих матери и отца, что лежат в земле, и сейчас их память оживила их и они, словно черно-белое кино, просматривают свою молодую жизнь с молодыми и живыми родителями.

А над лугом, речкой, кладбищем жаркая, травянисто-ароматная тишина. Лишь из одичавшего яблоневого сада на окраине села неожиданным свистом прошивает тишину рваными короткими шовчиками какая-то тонкоголосая птичка, да шальная дворняга комкает приреченский сыроватый воздух густым безадресным лаем.

Живым дано чудо воскрешать мертвых. Видимо, Господь по всемогуществу и сердобольности своей наделил слабых и грешных людей таинством воскрешения — но только в памяти...

2

На второй день недельного предармейского загула Сашка привел в дом негритянку. Вернее, привел он ее ночью, сжав черно-красную ладонку своей короткопалой, с рыжими веснушками пятерней. Негритянка слабо и удивленно попискивала, когда Сашка с настырной ласковостью путеводительно направлял ее через захламленный хозяйственными принадлежностями двор широкого частного

дома, где он и жил с отцом и матерью, на сеновал. Здесь, в пахучем свежем сене, заготовленном на лесных полянах пригорода, была уготована негритянке постель, «норка» — называл ее Сашка. В этой сенной норке уже побывали с десяток фабричных девчонок разных национальностей. Сашка оборудовал сеновал с первыми копнами свежего сена, которое они с отцом привозили с покосов. На сено он расстилал старый дедов полушубок, поверх его байковое одеяло. Этим одеялом укутывал Сашка пристывших к утру девчонок. На вытянутую руку от лежака в деревянный ящик Сашка ставил бутылку с квасом, карамельки и жесткие, как высохшая замазка, ванильные пряники.

Негритянка была из далекой африканской страны. Училась уже два года в Текстильном институте, обвыклась в городе и ходила на танцы в городской сад. Сашка поразил ее желтыми в короткую волну густыми волосами, голубыми глазами и темными бровями. В свою очередь, негритянка заинтересовала Сашку как объект такого исследования: а как у них это... и все остальное? Он и не предполагал, что его исследование зайдет так далеко.

«Шено... шено...» — едва слышным лепетом повторяла негритянка слово Сашки, которым он назвал этот сухой пахучий ворох щекочущей травы и в который пала иноземная девушка.

Конечно, все было, как всегда, и все было то же самое, но была и особенность: в жесткости волос негритянки, в горячке и неутомимости влажного скользкого тела, в каком-то фруктово-сладком запахе ее пота, вскриках и шепоте незнакомого языка.

Когда под утро, вырванный из сна первым воплем петуха, Сашка глянул на лежащее рядом, освещенное сероватым, неустойчивым, наполовину лунным светом черное тело, словно выточенное из большого куска угля, он почувствовал себя вором, присвоившим чужое, пусть диковинное, экзотическое, но совершенно негодное в дальнейшем жизненном применении существо.

Негритянка проснулась и гладила черно-красной рукой Сашкины золотые волосы, выпутывала из них заколки сена, слабым шепотом повторяла: «Русь-кай, русь-кай...», готовилась для новых ласк, но петух начал орать

почти без перерыва, словно предупреждал, мол, время любви кончилось, пора уходить, хозяйка выходит на двор кормить кур.

Сашкина мать, тетя Мотя, уже «цыпала» на дворе около лестницы, призывая многочисленных кур на зерно.

Негритянка ловко приладила гладкую ножку на ступеньку лестницы, второй нащупала следующую и как-то знакомо, по-свойски стала спускаться вниз.

— Прай-вет! — сказала негритянка тете Моте, ощутив, наконец, под собой дворовую твердь, уже утыканную тепленькими светло-серыми куриными окатышками.

Негритянка выпустила из рук лестницу и тут же наступила белой босоножкой на не успевшую затвердеть куриную пирамидку. Отдернула ногу и угодила второй в такое же куриное естество.

Куры скупились у таза с зерном, закосили глазами на черную девчонку, а петух, выгнув грудь, воинственно и вздорно закричал пронзительным криком на кур, видимо, говорил своим птичьим языком: «Эка невидаль — чернушка! Хозяйский сынок и не таких приводил...» А закончил петух свое обращение к курам, видимо, матом, потому что куры смущенно потупили головы к кормушке и застучали клювами в звонкое дно таза.

Тетя Мотя обмерла с ведерком в руке. Задрожала дужка ведра, и верхний слой зерен стал двигаться как живой. Зернышки вставали на дыбки, падали на глянцево-спинки и тряслись, словно в сите.

— Прай-вет! — еще раз сказала негритянская девушка, снизойдя по лестнице к тете Моте, простой путевой обходчице, которая видела негров только в кино. Для нее эти люди были так за пределами далеки, что она никогда и не думала о них, есть ли они на самом деле или их придумали неведомо зачем. А если и есть, то и бог с ними, пусть живут, разные чудеса на свете бывают... А тут из небытия, из космоса, из утреннего неба, по грубо сколоченной ее мужем и отцом Сашки тяжелой лестнице спускалась к ней черная девушка.

Остолбеневшая тетя Мотя шарила глазами по негритянке, стремясь для успокоения найти в ней что-нибудь светлое, хотя бы серое, но даже ситцевое платье в голубой цветочек пошива

местной фабрики, с натягом обхватившее фигуру иноплеменницы, показалось тете Моте черным. И только когда негритянка, ворохнув глянцево-черными, словно смородина после дождя, глазами, улыбнулась красным ртом, открыв непостижимой белизны и ровности зубы, тетя Мотя различила и цвет зубов, и перламутровые с красной сеточкой белки глаз.

— Прай-вет! — еще раз сказала негритянка и глянула вверх на проем сеновала, из которого оголенно вытянулась нога Шурика.

— Володя-я! — вдруг пронзительно закричала тетя Мотя, да так громко и отчаянно, что куры взметнулись белым взрывом. Петух, боясь уронить достоинство, откинув одно крыло, боком рванулся к лазу в куриный сарай, а нога Шурика с клочками рыжих волос, испугавшись крика матери, скользнула мимо лестничной ступеньки, скоркнула по необстроганной рейке. Сашка повис на руках, подтянулся, поймал-таки ногами перекладину. Но молодой восторг здорового тела был сбит. Он шустро сбежал вниз, протряс ладонями скудрявленные в шапку волосы, выбивая из них сухие чешуйки клевера и зеленые острицы ломкого сена.

— Володя-я! — не обращая внимания на появившегося перед ней сына, ошарашенно кричала до синевы побледневшая тетя Мотя.

— Мама, ты чего? — спокойно и ласково спросил Сашка.

Но отец уже бился изнутри в дверь дома.

У тети Моти была привычка запирать мужа на ключ, даже когда она выходила на короткое время во двор.

Дядя Володя спал после ночной смены и категорически требовал, чтобы его не будили. Год назад это запирающее едва не привело к беде. В приделке их дома жил квартирант — молодой, задумчивый мужик. Еду он готовил на газовой плитке с маленькими красными баллончиками. Выжженные баллоны менялись на газозаправке. Зимой, в морозы, газ в баллонах замерзал, густел, нужно было время, чтобы в теплом помещении он отогрелся, иначе горелка на плите только злобно шипела и не загоралась. И была в приделке печь с чугунной плитой под чайник и кастрюлю. В морозные зимы печь начинали топить с утра. Квартирант — мечтательный мужик, принес обледеневший до инея баллончик,

поставил его на чугунную плиту и, поскольку был постоянно задумчив, забыл о нем. Он смотрел в окно на морозные завихрения палехского письма, которыми было расписано стекло, и о чем-то мечтал. Березовые дрова разгорелись, плита начала багроветь. Газовый баллон взорвался и разворотил верхнюю часть печки. Задумчивый квартирант выбил головой оконный переплет, но то ли по причине сильного ангелогранителя, то ли крепости головы отделался лобовым синяком и ссадиной на щеке.

Дым из печки гульнул в проем окна. Тетя Мотя в это время кормила в птичнике своих вечных кур. Дядя Володя спал взаперти после ночного дежурства. Тетя Мотя закричала, как всегда, оглушительно-громко, отчаянно, самозабвенно:

— Володя! Горим!

Дядя Володя, погруженный в глубокий отдохновенный сон, был немедленно выдернут из него криком жены, свернут с кровати и поставлен на ноги.

Но тут надобно рассказать об одном из предметов одежды того незабвенного времени — кальсонах, или, по-простому, — подштанниках. Носить их начинали в армии как нижнее белье. В поясе они крепились двумя пуговицами, которые непременно желтели после трех-четырех стирок. У щиколоток пришивались полуметровой длины завязки, которые, прежде чем завязать, нужно обмотать вокруг ноги. Эти завязки были рассчитаны на военную жизнь: голенища сапог держали их, но в гражданском проживании, с брюками и ботинками, завязки вели себя непредсказуемо — они развязывались в самые неподходящие моменты. Мой друг Валера по этой причине лишился любимой девушки. Не износив после армии подштанники, он зимой, поддев их, пошел на свидание. Валера стоял на площадке трамвая и весело балагурил со своей девушкой и ее подругами — они ехали в кинотеатр. Завязка, ощутив свободу, размоталась с ноги и белой змейкой выползла из-под брючины на грязный трамвайный пол. Когда Валера развернулся к выходу, девушка из другой компании притиснула завязку каблуком к полу. Легкий полупрыжок Валеры к выходу был остановлен полотняным треском разрываемой ткани и подштанина, оборванная где-то возле колени,

белым раструбом на тонкой ножке выскользнула из-под брючины и, не зацепившись даже за ботинок, покинула ногу хозяина.

Конечно, такой срам надо было пережить, но хохот, который потряс трамвай, уничтожил в Валере и его девушке все лирические чувства. Тем более его девушка — прядильщица с Меланжевого комбината — хохотала громче и дольше всех...

Так вот, дядя Володя спал в этих самых подштанниках, размотав для отдыха ног завязки, и когда призывный клич его жены из-за запертой двери вздернул его на дыбки, он первым делом наступил на завязку, вырвал «с мясом» клочок кальсоны и голоногим оборванцем ринулся к двери. Дядя Володя бился в дверь, а тетя Мотя с улицы отчаянно кричала: «Володя, горим!» И дядя Володя, учуяв запах гари, с размаху ахнул тяжелой табуреткой в двойную раму, выломил оконный переплет на улицу и лихо выскочил в покалеченных кальсонах на снег. И сразу сверкнула фиолетовой чешуей жирная змея, обвинившая мускулистую бочковидную ногу дяди Володи. Змея ползла снизу вверх, от щиколотки по икре к бедру. Какой она была длины и в какой части тела прятала свою голову, могли знать только люди, бывавшие с ним в бане. Голову свою змея не прятала, а, наоборот, на границе бедра и живота поворачивала и разевала двузубую пасть, высовывала раздвоенный язык, шипела, и с зубов у нее срывались грушевидные синие капли яда.

Такая же змея охраняла и вторую ногу дяди Володи, но в момент пожара она пряталась в непорочной кальсонине.

Дядя Володя стал метаться по двору. Черпать ведром снег и швырять его в дымящееся окно приделка. Квартиранта отmaterил. Жену — непорочную мать Шурика, по-женски незапятнанную в отношениях с другими мужчинами, тоже обозвал, как принято, по матери. Он ругался и швырял снег. Прибежали соседи с ведрами воды и плескали в окно приделка. Пожар был потушен в зачатию. Из окна приделка шел мокрый вонючий пар.

У квартиранта тряслись руки, в задумчивых глазах отпечатался страх.

Но дядя Володя швырял и швырял ведром снег как заводной: наклон, зацеп ведром, швырок... Пока тетя Мотя не пробилла его

замкнувшее сознание очередным криком: «Да перестань ты, наконец!»

И дядя Володя прекратил свое противопожарное действие, оглядел толпу собравшихся людей и сказал историческую для улицы фразу:

– Ну что, суки, рты раззявили!

Но люди не только не обиделись, они даже смутились, глядя на дядю Володю, стали отворачиваться и прятать грешные (не к месту) улыбки.

Надо сказать еще об одной особенности подштанников — у них не было ширинки. Вернее, она была, но это была прореха без пуговиц. И мужская деталь дяди Володи, скукожившаяся от холода, словно гриб боровик сучного выроста, который едва приподнялся на кочке над серым свалывшимся мхом, красновато и бесстыже посверкивала на морозном воздухе. Это и вызвало улыбку людей.

– Володя, прикройся, — сказала тетя Мотя, проследив за взглядами людей.

Дядя Володя наконец полностью осознал себя как главную фигуру происходящего, глянул на красные расплющенные ноги, увеличившиеся в размере, в отличие от мужского причиндала, сгрудил ширинку в комок, отчего на тыле руки лучами засверкало темно-фиолетовое, полустертое временем солнце, опускавшееся в Тихий океан, сутуло прошлепал к входной двери и стал судорожно дергать ее, теперь уже пытаясь войти в дом. Тетя Мотя стояла за спиной мужа с ключом в руке: ждала, когда он откроет дверь...

3

Дядя Володя был личностью колоритной. Основные вехи жизни были изображены на его теле, словно на индейце племени майя.

На некогда мускулистой рыжеволосой груди дяди Володи были выколоты Ленин и Сталин. Их просиненные одноглазые профили с пятидесятых годов прошлого века глядели друг на друга, олицетворяя патриотичность их обладателя. Когда-то давно на молодой, безволосой груди профили круглощечно выпучивались. С годами физиономии вождей дрябли и обвисали. У них появились вторые подбородки, они проросли пепельно-рыжим волосьем, поблекли от банного скрабания.

На спине дяди Володи были выколоты акробаты. Один раскинул руки, откинулся назад. Из рта циркача тянулся канат, другой конец каната привязан к лестнице, на вершине которой второй акробат делал стойку на руках. Циркач с канатом в зубах был молодой дядя Володя — то были годы его работы в Вильнюсском цирке. Дальнейший жизненный путь дяди Володи был изображен ниже: падающий вниз головой по позвоночнику верхний циркач, и вот уже на левой ягодице человек с огромной совковой лопатой швыряет уголь в топку печи, труба которой чадит синим пламенем на правой ягодице. Что-то не сошлось в том цирковом мгновении на арене — то ли верхний акробат не выдержал равновесия, то ли зубы дяди Володи не осилили нагрузку. Лестница закачалась, и верхний циркач обрушился на ковер. Сгоряча вскочил, выгнулся и захрипел. Лестница же стала падать на дядю Володю, но он успел отскочить, и лишь острый угол лестницы скоркнул по бедру, содрал лоскуток кожи.

Когда подбежавшие стали поднимать упавшего, дядя Володя кинулся к товарищу, но ему помешал канат во рту, а рот не разжимался — замкнуло. Приехавшие медики дергали за канат, но дядя Володя только мычал и через нос матерился. Канат обрезали около подбородка, и с этим куском увезли дядю Володю в больницу. Там в остаевшие жевательные мышцы сделали ему уколы, и на беду врачей рот дяди Володи вновь заработал. Почему на беду? Да потому, что такого количества матерных слов, выпущенных дядей Володей, больница, видимо, не принимала на свой счет со дня ее строительства. Врачи испортили канат, вернее, не канат, а то специальное устройство, которое крепилось на конце каната и зажималось зубами, ведь это было изобретение дяди Володи.

Товарищ выжил, но остался инвалидом, а дядю Володю из цирка уволили, и он пристроился работать кочегаром.

А дальше нательная живопись рассказывала о странствиях дяди Володи по белу свету: солнце, полуутонувшее в океан, — это дальневосточная вербовка. Надпись на ступнях: на левой — «Они устали», на правой — «Но х... догонишь» — это бегство с Дальнего Востока от долгов и карточных проигрышей. Память о го-

лодных и бесприютных днях отпечаталась на месте желудка надпись: «Он хочет есть». Интимная жизнь была так же отражена на теле дяди Володи: на пальцах левой руки — «Таня», на правой — «Валя», на левом предплечье густокудрое женское существо с большими фиолетовыми глазами и подписью «люблю навеки».

Правое же предплечье было посвящено матери: могильный холмик с крестиком и традиционной надписью «не забуду мать родную».

Были на теле дяди Володи, кроме змей, звери: тигр, страшно ощерившийся, голова волка, тоже свирепо рычащая.

Жажда плотской любви в застенке едва не привела дядю Володю к непродуманному шагу — татуировке костра, фиолетовые языки которого распластались бы на груди и спине и условно жгли шею до подбородка спереди и весь, уже начавший слоиться накачанный загривок. Спасла от костра амнистия, а так жил бы дядя Володя все оставшиеся годы в холодном пламени.

Были еще на теле дяди Володи разные клейма, значение которых известно только ему: окно с решеткой и голубем, сетка паутины с восьминогим пауком, глаза которого свирепели красными бусинами. Часовенка с крестиком, карты — дамы «вини» и «черви», восьмьюгальные звезды.

Но главный познавательный выкол был на животе дяди Володи, чуть ниже голодной надписи. Несущийся на всех парах паровоз с одним вагоном, стрелочник с выгнутым флажком, поднятый шлагбаум и надпись «Авось вывезет!»

Завез поезд дядю Володю в фабрично-заводской городок, успокоил, умиротворил и женил его на тете Моте. Естественно, она тогда не была тетей Мотей. Это для нас, пацанов, тетя Мотя, а для дяди Володи девчонка-украинка, тоненькая, стройная, протяжно произносящая русские слова.

Поскольку у дяди Володи никакой специальности, кроме держания каната в зубах, не было, он устроился работать на сортировку сцепщиком вагонов, а жена — тетя Мотя — поменяла восьмичасовой сплошной фабричный грохот ткачихи на редкий стук несколько раз по графику проходивших мимо нее поездов, теперь уже стрелочницы на одном из пригородных разъездов.

Мы с Шуриком летом, выходя из лесу с ведрами грибов, всегда заходили в будку, где работала его мать. Здесь мы пили теплую, с железным привкусом воду из титана. Тетя Мотя, плохо разбиравшаяся в грибах, затягивала с какой-то вздорной ласковостью: «Ой-й, набрали-та-а! Поганки-та-а все чай... Устали-та-а как! Ну, отец разберет, может, не все поганки-та-а...»

Шурик, как и отец, в грибах разбирался, и, конечно же, в его ведре поганок не было.

С годами и дядя Володя перешел из сцепщиков в стрелочники, и даже одно время они с тетей Мотей были сменщиками. Ходили они в форменной железнодорожной одежде. Приходя на работу, надевали широкий пояс, на котором в кожаном чехле торчали два флажка, желтый и красный, для ночных поездов у них были фонари с такими же цветными стеклами. А еще им выписывали на работе просмоленные деревянные шпалы для домашней печи, тогда все дома пригорода отапливались печами, это потом уже стали появляться котлы и батареи. И выделялись покосы на прирельсовых зеленых просеках, раздвигающих лес на две половины.

Сочная густая трава, подступающая к насыпи, летом засверкивала рубиновыми капельками земляники, и, прежде чем косить траву, дядя Володя и я с Шуриком согбенно замирали над разнотравьем и выщипывали едва державшиеся на зеленых ножках тяжелые и нежные от сочной спелости ягоды.

Пока трехлитровые бидоны не заполнялись доверху земляникой, к покосу не приступали...

Конечно, главный косец был дядя Володя. Он снимал тельняшку и широкие спецовочные брюки. Его фиолетовое тело охватывалось лесным солнцем. Он скручивал с пояса черные сатиновые трусы до колен — делал их короче, чтобы не мешали размашистой косьбе, плевал на шершавые ладони, и все его нательные изображения оживали: Ленин кивал головой Сталину, Сталин откидывался назад, дергались циркачи на спине, и тот циркач, который был молодым дядей Володей, норовил упасть навзничь, но не успевал, потому что взмах косы в руках дяди Володи поднимал циркача и ставил почти прямо, а падающий акробат теперь падал по канаве позвоночника зигзагами, натываясь на продольные бугры спинных мышц. И кочегар на ягодице,

ощутив вольное июльское солнце, швырял свой вечный уголь с удвоенной сноровкой. Приходили в движение звери и змеи, деформировалась и изгибалась решетка, трепыхался голубь, и паровоз на животе все пытался сорваться с места...

Потом все эти рукотворные символы обливались потом, дядя Володя, сверкая, уходил по насыпи, после него оставался ровный валок скошенной травы.

Дядя Володя словно прилипал к солнечному ядру, и его фигура, удаляясь, превращалась в золотистый пар. Он отрывался от насыпи и, помахивая косой, восходил по солнечному прокаленному воздуху на самую макушку плотного леса, растворялся совсем, и только далекое жиканье косы обозначало его присутствие на земле. А мы с Сашкой задремывали головой к голове на свежей, мягкой, щекокущей охапке первопокосной травы.

Просыпались от озноба. С вечернего неба наваливался мягким серым брюхом на овраги и луговины тяжелый туман. Проколотый острогами бурых сосен, оплывал туман на еловую игольчатую стелицу, мокрой тряпицей елозил по кустам и травам; вползал тугим закрутом на железнодорожную просеку; глушил серебряный блеск теплых еще после горячего июльского дня рельсов, заливал лесные прогалины тягучей серой густенью.

И там, далеко, в этой непроглядной затопи, куда уходили рельсы, глухо, монотонно, с вырывами паровозных гудков на сортировке, пульсировал большой город...

4

В селе родились моя мать, ее сестра, моя тетья, и я в свой черед родился здесь, а еще дед с бабкой, прабабка и прадед, и протягивался наш род аж до Минина и Пожарского, когда в их ополчение с самодельным кистенем и двузубыми вилами влились два моих пращурра крепостных и, видимо, сложили свои кудлатые головы на околицах Москвы, где теперь сотрясается их прах под асфальтовым панцирем бескрайних закрутистых дорог.

Тетья Лиза, младшая сестра моей матери, до семнадцати лет жила в селе, хорошо училась, бы-

ла тихой, молчаливой, примерной девушкой. Ее приняли в комсомол, а потом она уехала в Ярославль, к старшему брату, продолжать учебу. Здесь ее пригласили на работу в НКВД, а в 1944 году направили в Вильнюс на укрепление советской власти. Мать осталась в селе при родителях.

В то время, когда молодая тетья Лиза вылавливала в литовских лесах «лесных братьев», ее сестра работала свиначкой в колхозе имени Молотова.

Свинарник — длинный, приземистый, темно-серый. Бревна от постоянного обмазывания известкой оскорупились, от дождей и ветров куски известки отшелушивались, и заплатки черных бревен издали были похожи на сквозные пробоины.

Внутри пронзительный, невероятной густоты запах поросячьих испражнений. По всей длине свинарника узкий проход из склизких, мокрых досок. С боков этого настила глубокие желоба, всегда полные бурой жижи. Свиначки деревянными заступами сволакивали эту дрожучку к воротам свинарника в глубокие выгребные ямы.

У входа в свинарник две большие квадратные железные емкости. Два раза в день приезжала со спиртзавода машина с цистерной, и мрачный шофер швырял в емкость тяжелый шланг. С напористым гулом билась в железо горячая барда, клубился пар, поднимался кислый хлебный запах, он ввинчивался в щели и маленькие оконца свинарника, обволакивал свиные пятки, вытянутые на источник запаха, будоражил поросят, они начинали хором хрюкать с подвывом и повизгиванием, толкать тяжелыми мордами глубокие деревянные колоды, в которые свиначки ведрами должны разносить барду.

Шофер, обматерив свиней, барду, грязный шланг, старую машину и весь род человеческий, уезжал снова на спиртзавод и привозил новую порцию барды к вечеру. Первые ведра вечерней барды свиначки, оглядываясь, разносили по укромным углам, закрывали от лишних глаз кто доской, кто тряпьем. Ведра были чистые, домашние. После них брали казенные — мятые, с многодневной налипью засохшего корма, и начинали очередное кормление поросят. Хлюп и чмок раздавались по всему свинарнику. Животные яростно загла-

тывали теплую с густыми ошметками еду, отпихивали друг друга коричневыми пятаками. Насытившись, поросята валились на бока, вытягивались на всю ширину хлебов, нешелохнито спали, обозначая жизнь только шевелением розовато-грязных пятачков.

После вечернего кормления, дождавшись темноты, свиарки разными дорогами разносили по домам утаенные ведра с бардой. Мать шла к своему дому по узким протопам между огородами. Я держался за скользящую дужку ведра и не помогал матери (как я думал), а отяжелел ведро, оттягивал его вниз, но мать не ругалась, а только выдыхала хриловатым, глухим голосом: «Быстрее, быстрее иди, скотинка ждет...»

Дома в стойле, огороженном сухими жердями, фыркала черная с белыми островками корова по кличке Долинка, а в дальнем углу скоблил копытцами, возился, терся тугими боками о горбыли хлева желто-розовый поросенок. И едва мать входила во двор, раздавались хрюканье и мычание. Одно ведро барды выливалось в кормушку поросенку, бардой из другого поливалась запаренная кипятком солома (если кончалось сено), и животные начинали блаженствовать. Я любил смотреть, как ест корова. Она размеренно двигала нижней челюстью, перебирала корм широкими, плоскими зубами, у ней был мокрый нос, покрытый пупырчатой кожей, словно вырезанной из голенища кирзового сапога, и на меня, не мигая, смотрел серого стекла овальный глаз. Мы так долго могли смотреть друг на друга. Я гладил белую шерсть ее мягкого лба, трогал ноздри, она лизала мне руку теплым широким языком и уходила в дальний угол спать.

По детскому всеверию я не понимал тогда, что мать и ее подруги-свиарки воруют барду. У меня, шестилетнего, уже наученного дедом читать книжки и запоем читавшего «Русские народные сказки» в черном переплете с Иванов-царевичем, ухватившим за хвост Жарптицу, не могло и мысли возникнуть, что мать — и ворует! И я предал ее. «По простоте душевной», — как сказал после дед.

К вечеру на свиарник приехал председатель колхоза, звали его Митюк Исаков — горбатый, в сером картузе, и бригадир — Шура Царева, большая, круглая, с красными щеками — естественно, за глаза Цариха. Они посмотрели свиар-

ник, поговорили. А когда попрощались и все стали расходиться, я видел, что мать и ее подруги уходят без ведер с бардой, громко сказал:

— А барду мы сегодня не понесем?

Я и сейчас вижу, как полыхнуло краской лицо матери. Как тетя Нюра, говорившая быстрым стрекочущим голосом, вдруг начала пулеметить о недельных поросятах, которых надо выпавать обратно, а мы даем разведенную барду, и они безудержно поносят. Тетя Нина начала смеяться так, что у нее пошли по щекам слезы, и она не могла остановиться — плакала и смеялась. И свиарки стали отжимать меня спинами от председателя и бригадира, словно большие бурые коровы отжимают теленка от грозящей ему опасности. Но я опасности не видел и поэтому выдавливался из-за спин этих теток, пытаюсь не потерять из виду начальство (так называла председателя и бригадира мать). Но они, ничего не сказав, быстро пошли от свиарника в разные стороны — по домам.

Тетя Нюра стала тихо и беззлобно ругаться, и ругала она какого-то неизвестного мне языкастого болтуна, которому язычок надо бы измазать бардой, да не свежей, а перестоялой, чтобы язык распух, как у больного поросенка, и не шевелился.

Я ощутил привкус барды во рту, сглотнул и даже пожалел того болтуна, которому тетя Нюра накликала беду.

Взрослея, я понял, о ком говорила мать и подруга...

В этот вечер мы пришли домой без барды. Мать рассказала деду и бабушке о случае на свиарнике. Бабушка гладила меня по стриженной голове, и я чувствовал, как ее мизинец, согнутый буковкой «Г» из-за перерезанного серпом сухожилия, прочерчивал на моем темечке незримую бороздку. От этой приятной щекотки задремывалось. А дед в это время поведал историю о мальчике, который на базаре в большом городе увидел, как вор залез в сумку стоящей в очереди женщине. Мальчишка громко сказал своей матери об этом. Вор сбежал. А потом на выходе с рынка к ним подошел блатной, легонько мазнул ладонью по лицу мальчишки и сказал: «Не суй нос куда не следует...» В ладони блатного была бритва, и кончик носа мальчишки повис на кусочке ко-

жи... «Вот так, мил человек, — подвел итог дед. — Что увидел — молчи, и нос целым будет».

Я, конечно, всплакнул — мальчишку было жаль. Но дед успокоил — нос ему в больнице пришили. А на вопрос, поймали ли блатного, дед ответил безнадежно:

— Да где там, его и след простыл...

И я, засыпая, думал о том, что, когда вырасту, поймаю этого блатного, привезу его на свинарник и суну головой в прокисшую барду... Страшнее этого наказания я тогда себе не представлял.

Из Вильнюса от тети Лизы шли посылки. В село их привозила на багажнике велосипеда почтальон Ольга — толстая, рыжая, веснушчатая деваха, вздорная и веселая.

— Опять вам посылка, дед Ефим! — кричала в окно. — Совсем вас заслали, кажинный месяц!

Фанерный прямоугольный ящичек с просверлами по бокам обмотан волокнистым шпагатом, помечен густым прищепком сургуча на малой боковине (я первым делом оскорлупывал коричневые сургучовые наплывы с печатью в середине, а потом плавил их в консервной банке на костре).

Ящик ставили на большой стол в светлой комнате, и я, бабушка и мать садились к столу. Дед гвоздодером подковыривал фанерную крышку, с тихим свистом вытягивались мелкие острые гвоздики из квадратной рейки. Дед не сворачивал крышку набок, а старался каждый гвоздь выдернуть, не сгибая его. Потом он клещами выдергивал гвозди и складывал их в глиняную плошку.

Сверху, на сложенной газете «Советская Литва», — обязательное письмо тети. Его читала вслух мать. А мне не терпелось заглянуть внутрь ящичка. Я тянул руки, но бабушка прихлопывала мою ладонь, и приходилось ждать, когда мать прочитает письмо. А читала она медленно, почти по слогам. Когда мать заканчивала: «Всех целую. Ваша Лиза», начиналось извлечение невидали из ящичка. Притиснутые друг к другу пакеты с сахаром-песком, банки сгущенки и рыбные консервы (шпроты), черная, покрытая плесенью от дальней дороги колбаса (на разрезе — мозаика темно-красного мяса и белого жира), россыпи конфет (леден-

цы, молочная карамель, длинные тонкие палочки двухслойных конфет в слюдяной завертке). Что-то еще незнакомое, цветное, душистое. Матери и бабушке — платки, деду — трикотажные кальсоны, мне — майки-безрукавки...

Изба наполнялась запахом счастья. Просматривалась каждая этикетка, каждый фантик разглаживался, прочитывался и складывался в старую полевую сумку на длинном ремне.

Через тридцать лет мой сын также будет разглядывать обертки «гуманитарной помощи», ящик с которой он принесет из школы.

В свой очередной летний приезд в село с тетей Лизой приехал мужчина. Тетя писала, что сошлась с хорошим человеком и летом они приедут в гости.

Дед попросил у председателя подводу (телегу с лошадей) и утром уехал в Посад встречать дочь. Вернулся он к вечеру. На телеге среди трех огромных чемоданов сидела улыбающаяся тетя в крепдешиновом цветастом платье, рядом — мужчина в соломенной шляпе.

Я стал звать его дядя Петя, а взрослые Петром Акимовичем. Он был высокий, пышная прическа тети едва доставала его подмышки, продолговатое тяжелое лицо, прямой узкий нос, узкие, словно спрятанные внутрь губы и широкий подбородок, который он по утрам с шурханием оглаживал широкой мягкой ладонью и шел к умывальнику бриться. Глаза у него серые, неустойчивые, постоянно меняющиеся в зависимости от настроения. То посверкивали смехом от каверзной подшутки, то застывали ледышками от внезапно пришедшей в душу озлобины, а то и вовсе взгляд оборачивался внутрь и так застывал, словно бадя на цепи опускалась в колодезь, а когда вытягивалась наверх с тяжелой от холода водой, сыпались вниз роспески звонких капель — взгляд тут же менялся, лучился и чередовались нескончаемые истории из фронтовой жизни дяди Пети, причем одна история переходила в другую совершенно незаметно, потому что герой каждой из этих историй был один — дядя Петя.

Еще запомнился этот человек странным фокусом, вернее, даже не фокусом, а необычным действием, поражавшим меня и моих деревенс-

ких приятелей. Он вытягивал перед нами длинную, с жидкой провисшей мускулатурой руку, заросшую курчавыми блекло-черными волосами, и пальцами другой руки выдергивал клочок волос. Мы застывали, но дядя Петя улыбался и вопрошал: «Ну, кто так сможет?» Мы оглядывали свои безволосые руки, прихватывали едва пробившийся пушок, пытались дернуть, но наши паутинные волосики болезненно выскальзывали из пальцев, и повторить дяди Петин выщип никому не удавалось.

А еще дядя Петя плел корзинки из ивовых прутьев. Берега речки заросли ивняком. Дядя Петя настригал овечьими ножницами охапки гибких прутьев. Мы приносили прутья на двор, и здесь дядя Петя выплетал корзинки: двуручные круглые шеверюшки, продолговатые бельевые с ручкой дугой, ягодные с плетеными крышками. Однажды он сплел квадратный короб для хранения всякой всячины. Этот короб простоял в сених десятки лет, и когда я уже взрослый приехал в село и зашел в свой бывший родной дом, то увидел этот короб на прежнем месте, тронул его, и он сухо скрипнул колючей крышкой — видимо, признал меня...

Посылки и приезд тети с дядей из неведомого, сытого, сладкого, недостижимого Вильнюса были праздниками в нашей сельской жизни.

Мать была у сестры в гостях через два года после войны. Она надела выходное ситцевое платье, поверх суконную тужурку, на ноги закрытые серые туфли на квадратных, сношенных каблуках.

Бабушка испекла ей четыре больших пирога из муки с отрубями, начиненных пареной свеклой, и положила десять крутых яиц. До Москвы мать ехала в жестком сидячем вагоне. В Москве бледная женская голова с высокой пепельной прической в крохотном арочном окошечке кассы буднично потребовала доплатить двадцать девять рублей за плацкарт. «А мне не надо плацкарты, — отнекнулась было мать, — я в общем доеду...» — «Общие до Вильнюса не ходят...» — строго внушила бледная голова. Мать отдала последние деньги, тридцать рублей, на которые рассчитывала купить поесть. Голова из кассы пробила в жесткой корочке билета дырку.

До Вильнюса ехать сутки. Утром села на поезд в Москве, на следующее утро вышла в Вильнюсе. В дороге с ней приключилась история, которую она потом часто пересказывала, смеясь и заново переживая давний стыд, испытанный ею в вагоне скорого поезда...

Место было на верхней полке у выхода в тамбур. Отдала последние десять рублей за постель. Нашла сорок копеек на два стакана чая. Но как есть пироги со свеклой, когда соседи выкладывают на узенький столик вареных кур, колбасу, печенье, поджаристые пирожки с мясом и всякие другие вкусности?

Она забралась на верхнюю полку, часть дороги спала, часть делала вид, что спит. Соседи приглашали ее к столу, но мать отнекивалась, говорила, что ей нездоровится, а ночью, когда все в вагоне угомонились, она, отвернувшись к стене, лежа на боку, ела пироги со свеклой. Пироги сохлились, были похожи на куски земли, прокаленные солнцем где-нибудь на бугристой проселочной дороге. Паренная в русской печи свекла сконсервировалась внутри пирога, превратилась в вязкую горьковато-сладкую жижу. Мать не кусала пирог, а, прихватив твердый бочок зубами, отламывала кусочки и, попитав их слюной, трудно разжевывала, сдерживаясь, чтобы не чавкнуть ртом и не уркнуть голодным горлом. Так она съела пироги, смотала в узелочек оставшиеся и, вытерев губы, уснула.

Но не это было причиной ее многолетнего стыда, а дело совсем интимное, без которого не обходится ни один человек от мала до велика. Мать, словно оправдываясь, говорила: «А как ты без этого... Его вить не упросишь на потом, не сунешь и в карман, в платочек не положишь...»

Углядев момент со своей верхней полки, когда у туалета никого не было, и, судя по вагонной тишине, пронзаемой иногда всхрапами спящих, мать спустилась в туалет и, сделав свое большое послесвекольное дело, подумала — а как же убрать из урыльника (так она называла унитаза) то, что она сотворила? Она первый раз ехала в вагоне с туалетом и не знала про ножной рычаг. Не спрашивать же у проводницы, тем более та заперлась и спит.

Мать попробовала смыть пригоршнями водички из умывальника, но только усугубила дело. В унитазе заплескалось багровое и жидкое.

Мать, холодея от страха и стыда, вымыла руки, приоткрыла дверь и взлетела на свою верхнюю полку — в тамбуре было безлюдно.

Повздыхав тихонько, так же тихонько ушла в сон.

А утро началось с крика. Кричала у туалета большая рыжая женщина в длинном халате, с полотенцем на плече:

— Безобразия! Не смывают! Это же надо так зас...ть! Ведь это не один человек ходил! А с десятком, и все не смывают! Безобразия!

Заспанная проводница заглянула в туалет, захлопнула дверь и спросила невпопад:

— Кто?

Рыжая еще больше разошлась:

— Это вам надо знать — кто! А не спать!

И тут проводница совершила невероятное. На секунду задумавшись, она мстительно произнесла:

— Я знаю — кто... — и шагнула в вагон.

«У меня все внутри так и оборвалось», — говорила на этом месте мать.

Но проводница — приезжая из провинции москвичка, неулыбчивая, с вечной заботой на курносом лице — прошла в третий плацкартный отсек, в котором спали четверо мужчин. Они познакомились в вагоне, сошлись на выпивке, закусывали, долго играли в карты, часто выходили в тамбур курить.

Проводница, сказав громко:

— Подъезжаем! — без перехода начала наотмашь охаживать ничего не понимающих в полусонье мужчин хлесткими обрывками фраз:

— Вы что это хулиганите! Освинели совсем! Вы дома так же делаете! Стыд есть у вас? Не выйдете, пока не уберете! Милицию вызову!

На нижней полке мужчина вывернулся из-под одеяла, сел. Отвисшая майка, на худом ребристом теле наколки, глаза воспаленные, сверкнув золотой фиксой, прошипел:

— О чем кипишь, шаболка гнутая?

— В самом деле, — поддержал его вскоченный парень с верхней полки. — До конечной еще три часа, а вы будите!

— Ты сперва за собой убери! А потом спи! — кричала проводница.

— Что убрать-то? — удивился парень, глядя на стол. — Все по делу стоит...

— Говно в туалете... — врезала проводница.

Тут сразу завозмущались все четверо: рослый улыбчивый литовец, дробя слова, сказал:

— Не-хо-ро-шо та-ак говорит-те. Жен-щина-а та-ак не гово-ри-ит...

— Это я нехорошо? Я нехорошо? — распялась проводница. — А гадить в туалете и не смывать — хорошо?

Полный лысеющий белорус в пижаме охладил клокотание проводницы:

— Пригласите-ка к нам начальника поезда, — внушительно сказал он. — Мы разберемся, кто у вас там...

«Я так испугалась от этих слов, — говорила потом мать, — что повиниться хотела...»

От упоминания начальника поезда пыл проводницы ослаб:

— Еще начальника сюда... Сама знаю, что вы все...

— Ты чего, открытка, нам шьешь, — снова зашипел в наколках. — Сама парашу убирай...

Парень с верхней полки окончательно проснулся и вошел в игривость:

— Это что, тетя, ты по запаху нашла нас? — завопросил он.

— Сам ты дядя! — оскорбилась молодая еще проводница.

У туалета стали собираться недовольные люди.

Проводница подумала, бросила напоследок:

— Ездят... Всю ночь галашатся... А тут хоть лопатой гребите...

Ворча и охая, она наконец зашла в туалет и нажала на рычаг...

Рыжая первой не пошла.

— Идите! — демонстративно кричала она. — Я не хочу всякую заразу подхватить. Туалет надо дустом очистить! Безобразия, а не вагон...

Мать даже обиделась на эту сытую, вздорную тетку: «Тебя саму бы дустом да на свинарник... Какая я заразная?» Собиралась, прятала глаза, все казалось ей, что соседи по купе и сама проводница догадались, кто же на самом деле учинил в туалете такое непотребство.

А когда вышла на перрон и увидела сестру, пружина внутри ослабла и мать беспричинно расплакалась и, смеясь, вытирая слезы рукой, пришептывала: «Ну, вот и доехала, вот и доехала...»

Три оставшихся пирога со свеклой тетя Лиза показывала на кухне соседям, и они нюхали их,

стучали ими по столу, испытывали на излом, а когда разломали и увидели внутри черную, похожую на смолу, свекольную начинку, словно отшатнулись от этого неведомого вещества. Молчали от встречи с неизвестной им жизнью, неожиданной и пока необъяснимой. Что тут скажешь? Война хоть и закончилась, а еще рядом. Об этом лучше всех на кухне знали Натан Григорьевич, Иван, тетя Лиза и Марта, неделю назад прибывшие на лесной хутор, где бандиты вырезали семью хуторянина Бразаускаса за то, что тот отказался давать «лесным братьям» харчи. Побили и унесли всю живность и припасы, а убитых хозяина, его жену, малолетних сына и дочь положили на широком дворе голова к голове и каждому воткнули в рты свиные ножки. (С тех пор и до конца своих дней моя тетя не ела свинину.)

И только одна из соседок тети — пани Ядвига, окинув себя быстрым перекрестьем, сказала смиренно: «Любой хлеб от Господа — во спасение» и сухой прозрачной ладошкой поладила материн пирог.

Началось двухнедельное сплошное угощение. Натан Григорьевич с Тосей организовали вечер-встречу и вечер-проводы. На столах было все немислимое и невероятное. Между этими вечерами были обеды и ужины. Соседи стучали в дверь тетиной комнаты и несли матери попробовать пирожки, котлеты, голубцы, какие-то мясные заливки, вареное, соленое и жареное. «Вы только попробуйте», — говорили они и уходили, оставляя блюдо.

«Стыд, — говорила мать сестре. — Я как нищенка...» На что тетя Лиза, которая сама любила и умела готовить, отвечала: «Ну что ты, они же от чистого сердца».

Возвращалась мать домой с вареной курицей, краковской колбасой, сдобными булочками на вагонном столе.

Отец по телеграмме встретил ее на вокзале в Посаде и, кряхтя, погрузил на подводу огромный чемодан и клеенчатый узел, перемотанный серыми ремнями с ручкой для переноски. Когда она вошла в дом, вытерла лицо платочком и сказала с каким-то удивлением и неверием в то, что это было именно с ней:

— Вот я и побывала в раю...

Были и другие поездки к сестре в Вильнюс, и

они ускорили решение матери уехать из села в большой город.

Когда дед с бабушкой упокоились на сельском крутобережном погосте, мать продала дом в селе и мы уехали в город.

Своего отца я не знаю. Естественно, он был, но до моего рождения, и я в детстве тихонько завидовал Сашке — ведь у него отец, да еще какой! Дядя Володя!

Впрочем, однажды вечером, когда мне было лет шесть, в нашем сельском доме приключилась какая-то суета. Мать с бабушкой начали спорить убираться в доме: подметали и мыли полы, вытряхали половики и самовязанные коврики. Мать вымыла голову в продолговатом тазу, в котором купали меня — младенца, ополоснула крапивным отваром, отчего ее густые от природы волосы волнисто распушились и заблестели. Потом они трое сели у стола и замерли, глядя в боковое окно, которое выходило на крыльцо. Такой свою мать я никогда не видел: она раскраснелась, у нее блестели глаза, она то и дело оглаживала новое ситцевое платье на себе, поправляла волосы, подходила к большому, с наклоном повешенному на стене зеркалу в резной деревянной раме. И смотрела на себя как на незнакомую — пристально и долго, и опять садилась к столу рядом с моей бабушкой, и замирала, и когда в полутемной избе проюзила по белой занавеске тень с улицы и раздался стук, сначала в дверь, а потом в окно, мать вскочила, села и зашептала бабушке:

— Мама, иди открой...

— Сейчас, — спокойно ответила бабушка. — Чай не ко мне пришел. Иди открывай...

— Чего ему сказать-то? — в каком-то полубеспамятстве спрашивала мать. — Отец, чего делать-то? — повернулась к деду.

— Иди, он тебе сам скажет... — отмахнулся он. — Только уши-то не развешивай долго, а то опять приключится... — недоговорил дед и посмотрел на меня. Я по обыкновению сел под руку дедушки ему на коленку, ладонь опустилась мне на стриженую макушку — словно грелка с теплой водой.

— Где бойка, а тут прямо оробела... — съязвила бабушка.

Мать встала и, шаркая негнушимися ногами, пошла к двери.

Деревянно колотнул запор на крыльце, и через секунду донесся глухой неразборчивый говор. Не помню, сколько говорили на крыльце. Через какое-то время в комнату вошла мать и позвала меня:

— Сергей, пойдем со мной.

Я прижался к деду:

— Не хоч.

— Иди, не бойся, — сказал дедушка. — Пусть он на тебя поглядит...

Помню высокого человека в длинном сером плаще и кепке. Светлые усы, борода, улыбка с золотым зубом в левой стороне рта.

— О-о, парнище... — ровным чужим голосом сказал человек. — А я и не привез гостинца, ну в следующий раз... А пока — на... — сунул мне в руку жесткую бумажку.

— Иди, сынка, к деду, — отвернула меня за плечи мать и легонько подтолкнула в дом.

— Растет... — сказал вслед мне незнакомый человек. И больше я его никогда не видел.

Я протянул дедушке бумажку — двадцать пять рублей. Он взял ее и положил на край стола.

— Швырнул деньгу... — пробурчала бабушка. — За шесть-то лет...

Мать с пришедшим говорили то тише, то громче. Дед с бабушкой прислушивались и молчали. Я лег на лежанку у печки и стал засыпать, но внезапно вошла мать, ничком ткнулась на кровать, и я услышал сдержанный тихий плач, похожий на вой в ночной трубе в разгулистую осеннюю непогоду. А наутро мать стала опять тусклой, отекающей от ночного плача, надела пропахшую свинарником одежду и ушла на весь день.

Она так и не вышла замуж. С возрастом все больше грубела и замыкалась, и только я осветлял ее жизнь. Это я понял, став совсем взрослым.

И то, что пришедший тогда поздним вечером человек был моим отцом, я узнал спустя годы.

Петр Акимович прожил с моей тетей лет пятнадцать. Он любил ее, оберегал, звал Лизочка, Лизок, а она его — Акимович.

— Ах, Лизочка, — говорил иногда Петр Акимович. — Как бы мы идеально жили, если бы ты была немного поласковей!

— Видно, в нашей породе камушки на душе, — отвечала ему тетя Лиза.

«Камушки» стали появляться с первой утраты того давнего сельского паренька Вани Жильцова, у которого была бабка деревенская колдунья Агафья Жильцова. Как она колдовала — никто не знал, но заговаривать умела грыжи у младенцев, зубы у взрослых, лечить всякие другие болезни — нутряные и наружные; все шло к ней.

Проходя мимо дома Жильцовых, дети, подростки, да, наверное, и многие взрослые скрещивали на руках средний и указательные пальцы, верили — так они защищаются от колдовства. И только Лиза не верила в колдовство бабки Агафьи. С Ваней Лиза дружила с начальной школы, а потом и в семилетку за четыре километра в соседнее село Иваньково они ходили вместе. Ваня подходил утром к их дому и кричал робким, подрагивающим голосом:

— Ли-и-и-за-ай!

— Иди уж, — говорила мать. — Пташка запела...

— Пошли, пташка, — говорила Лиза, выходя к Ване.

Болтая и переталкиваясь, они шли в школу. К ним прилипали другие ребята, и за околицу выходила шумная толпа школьников. Ваню и Лизу разделяли, но они переглядывались и были только вдвоем даже в шумной толпе.

Бывала Лиза и в доме у Вани, и бабка Агафья ее привечала и наливала молока с картофельной запеканкой.

Однажды, когда они уже заканчивали школу, шли вечером по домам, они увидели у палисадника бабку Агафью. Скотину еще не гнали, встречать коров с пастбища рано. Когда подошли близко, увидели, что бабка плачет.

— Бабуля, ты что? — спросил Ваня.

— Жалко мне вас, детки, ох как жалко... — с протяжной заунывью выговорила Агафья. — Хоть сейчас подышите счастьем-то...

Ваня с Лизой переглянулись — блеск в глазах, розовые щеки, растрепанные волосы — прыснули дружно.

Агафья повернулась уходить, а потом с полуоборота каким-то чужим холодным голосом, словно сквозняком обдула их:

— Порознь будете. Ты, Ваня, ледяной, а Лиза долго жить будет одна-одинешенька...

Поцеловались они один раз накануне

отправки Вани в армию. Прислал он Лизе два письма.

Зимой сорокового года рядовой Красной армии Иван Жильцов замерз в лютых финских полях.

Больно упал этот первый камешек. Потом начали прибавляться другие, и к своему довольно позднему сожителю с первым мужчиной теть Лиза уже была угасшей, с тяжелым грузом бед и потерь, и, как бы Петр Акимович ни старался размягчить ее, заполнить жизнь добром и спокойствием, при внешнем достатке и сытости теть Лиза жила настороженной жизнью.

У нее не могло быть детей. Первая попытка родить ребенка закончилась выкидышем и хронической болезнью. И, наверное, поэтому так любила и опекала меня тетя. Она требовала, чтобы я каждое лето на каникулы приезжал к ним в Вильнюс. На следующий день после моего приезда мы шли по магазинам, и тетя с дядей покупали мне одежду и обувь. Петр Акимович был человеком не жадным, он с удовольствием участвовал в процедуре покупок, шутил с продавцами, одну рубашку он покупал мне в размер, другую — на вырост.

У него была первая семья, в которой уже было двое детей. Жили они со своей матерью в Москве, и дядя Петя лишь изредка переписывался с ними.

Воевал он артиллеристом, был дважды ранен, закончил войну капитаном в вильнюсском госпитале.

После войны остался в городе, руководил крупной республиканской снабженческой базой. Умер от инфаркта во время контрольной проверки базы, начатой по подметному письму группы «доброжелателей».

Тетя после смерти Петра Акимовича еще два раза пыталась наладить личную жизнь — не получилось: сожители скоропостижно умирали. Третьей попытки она не стала делать.

Взрослея, я от матери узнал новость, оценить которую сразу не смог. Оказывается, моя тетя с Петром Акимовичем просили мою мать отдать им на воспитание меня, и не только на воспитание, но и на усыновление, еще тогда в деревне, когда я незаконно, а значит, по мнению мнителей того времени, случайно появился на свет. Мать, отхлестываясь от слухов,

выпутываясь из сплетен, отругиваясь от моих деда и бабки, которые корили ее, называли «глупой королевой», не только не отдала меня, как тогда говорили, «в лучшую жизнь», но навсегда запретила даже упоминать об этом.

5

Если бы сказал кто-то, что Шурик с детства мечтал стать художником — он был бы неправ. Шурик был пригородный пацан со всеми вольностями, изворотами, неписаными законами пригорода. Пацаны одной улицы — группа; двух, трех улиц — стая. Района — кодла, то есть большая стая с вожакom. Нужно было определять свое место в этой кипящей, непредсказуемой стихии, и не только вливаться в нее, но и чувствовать себя незаменимым составляющим этого бурлящего сборища.

Повседневная жизнь — это жизнь в улице. Подростки примерно одного возраста собирались в облюбованном месте (позже это называли тусовкой), играли в попа-гонялю, зубарики, городки, карты, стукалку или пенышко, на самодельном притоптанном поле у реки — в футбол.

В кодлу ходились только на разборки между районами: Соснево против Сластихи, Авдотьино против Рабочего поселка и т.д. Обычно происходили эти «заводки» летом после танцев в многочисленных городских «Садах».

В стаях тоже были свои «шишкари» — парни старше других, как правило, занимающиеся в спортивных школах или отсидевшие «по-хулиганке». В такую уличную стаю привел меня Шурик. А с Шуриком свел Коля — Чива. Он с братьями взял меня под свое покровительство как соседа по просьбе их матери — тети Гриппы, которая в свою очередь с первых дней нашего переезда в город подружилась с моей матерью.

Летом мы сидели на лужайке у дома. Чива упражнялся с перочинным ножиком, втыкал его в землю: с ладони, с двух пальцев, с пальца — эта игра назвалась «зубарики». Главным в игре был деревянный колышек, который забивали в землю, но не до конца, если у одного из игроков ножик срывался с руки и не втыкался в землю. В конце игры, когда все приемы выполнены, проигравший (у кого больше

всех нож не втыкался в землю) вытаскивал колышек из земли зубами.

Чива был в этой игре мастер. Он забивал колышек каблуком стоптанной до дыр сандалиии, и проигравший, чтобы прихватить торчик колышка, вдавливался в землю губами и носом, сопел, отплеывал мокрую от слюны землю, пока, наконец, не прищипывал передними зубами деревяшку, потом начинал потихоньку раскачивать ее и наконец — счастливый, с грязным лицом, часто раскровавленными деснами — выдергивал тычок и, мотнув головой, сплевывал деревяшку в сторону...

Чива увидел Шурика издалаи.

— Эй, Синька, иди сюда! — крикнул он и замахал рукой.

Шурик приостановился и пошел куда-то в сторону.

— Синька! — еще громче крикнул Чива. — Не бойся, иди сюда!

Шурик настоороженно, не спеша подошел. Он был белокурый, с вьющимися в крупные кудри волосами и совершенно синими глазами. На нем была майка с двумя полосами на плечах, черные сатиновые шаровары с единственным задним карманом, простиранные до белесых разводов, истонченные на коленках. На ногах — парусиновые полуботинки, истрепанные до кудрявых ниток, в руке он держал толстую зеленую трубку полевого хвоща.

— Сыграем? — предложил Чива, вертя в руках нож.

— Не-е, — мотнул головой Шурик. — Ты все равно выиграешь...

Чива довольно хохотнул.

— Это Серега, — сказал он, показывая на меня. — Он приехал сюда жить. Поборись с ним...

— Не-е, — снова отказался Шурик.

— Че, бздишь? — презрительно спросил Колька. — Городской бздит деревенского? А ты? — спросил меня Чива.

— Могу, — сказал я.

— Те че, Синька, в пятак зарядить, что ли... — обиделся за город Чива.

— Ладно, — сказал Шурик. — Только майку сниму.

Он аккуратно сложил майку на траву, сверху положил трубку.

— Ты еще донага разденся, борец Бамбула,

— не одобрил действий Шурика Чива. — Боритесь до лопаток, — внушил Колька. — Не пердеть, не плакать и не кусаться. Начали!

Мы сцепились с Шуриком крест-накрест и принялись, сопя, сгибать друг друга в разные стороны. Когда мы перехватывались, я увидел, что у Шурика какие-то укороченные пальцы с узкими полосками широких ногтей. Особенно нелепы большие пальцы, они были словно без фаланг, короткие, сучковато торчащие. И, может быть, поэтому Шурик слабо захватывал мои руки. Я без особого труда положил Шурика на спину. Он нисколько не обиделся и, как мне показалось, даже был рад этому.

— Слабак, — подвел итог поединка Чива. — А теперь на любака до первой крови, — не унился Колька.

В деревне я дрался до синяков и крови. Выпячивал в кулаке костяшку среднего пальца и старался ударить этим выступом сопернику в висок (дед научил). Я сжал кулачки.

— Не-е, — снова, но уже решительно сказал Шурик. — Меня отец убьет, если увидит...

— Слабак, — снова припечатал Чива, но настаивать на драке не стал.

Колька потерял к нам интерес и ушел.

— А ты правда из деревни? — спросил Шурик.

— Из села, — ответил я.

— А чем отличается село от деревни? — спросил Шурик.

Я не знал точно, но уверенно ответил:

— Село больше деревни.

— Как город, только меньше, — утвердил для себя Шурик и протянул мне зеленую трубку. — Посмотри туда... — показал на отверстие.

Я глянул и отшатнулся — на меня вытарачилось красными шариками глаз зеленое ротастое чудовище. Оно словно присело для прыжка, передние короткие и задние шарнирные лапки спружинились и, мне показалось, слегка подрагивали.

— Не бойся, — сказал Шурик, — это кобылка. Я ее туда посадил. У нее сзади сабля, смотри...

Я посмотрел в трубку и увидел торчащую из брюшка кобылки узкую зеленую пластинку, похожую на клинок.

— Она на лету может палец отрезать этой штуковиной, — уверенно сказал Шурик.

Таких кобылок на речной осоке я на своей

деревенской речке ловил десятками, накалывал на крючок — на них хорошо ловились голавли и крупная плотва. Но чтоб кусаться, а тем более резать пальцы — никогда такого не было. Об этом я и сказал Шурику. Он сразу согласился, подтвердил, что и сам этих порезов никогда не видел...

С этой встречи мы стали друзьями. Шурик познакомил меня с уличными ребятами, и постепенно я вошел в мир пригорода и стал своим.

Мы купались в мазутной речке с коричневой дурно пахнущей водой, лазили в сады за яблоками, собирали в мешки пустые бутылки, потрошенные консервные банки, макулатуру и тряпье и волокни это на приемный пункт, где небритые, словно подкопченные мужики в залосненных спецовках, матерясь, взвешивали нашу добычу и совали нам бумажные пятерки, трешки, рубли и мелочь. Мы восторженно пересчитывали деньги и, богатые, шли в кино, пили морс, ели мороженое, покупали упругие ванильные язычки, от которых холодели и немели во рту наши собственные. Взрослея, мы стали ездить с сортировки в лес за грибами на крышах и площадках вагонов.

Зимой на Новый год добывали карманные деньги продажей елок. У Шурика были широкие, с полозьями из гнутых труб санки, на которых его отец привозил с работы просмоленные шпалы. Мы брали эти санки, клали на них две ножовки и волокни их в лес. Елочные посадки начинались сразу за железнодорожным переездом. Мы выбирали елочки небольшие, пушистые, распинывали снег у корней и подрезали тонкую липучую ножку, потом валенками засыпали кочерыжку снегом и притаптывали это место. Зачем? Да мы и сами не знали. Наверно, от боязни, что увидят лесники и поймают нас, наивно полагая, что двадцать срезанных елочек на санях появились невесть откуда, за все наши предновогодние сезоны — а продолжались они года четыре — нас никто не остановил, может быть, потому, что елочной поросли вокруг города было великое множество. Мы тянули наши сани с елками. Шурик — хозяин санок, впереди, как бурлак, закинув веревочную лямку через плечо и грудь, я — пристяжной, сзади упирался длинной пал-

кой с рогатиной на конце в санную поперечину. На спусках дороги Шурик выныривал из лямки, отбегал в сторону: тяжелые сани самоходом скользили вниз и, раскатившись, взлетали до середины следующего подъема, здесь мы снова тужились, хватали горячими ртами морозный, с хвойными опахами воздух.

Наша цель — трамвайное кольцо, конечная остановка, где трамвай заворачивался, огибая дугу, и, погромыхивая, уходил назад в город, в центр. Выждав момент, когда малочисленные пассажиры усаживались в вагон, мы с Шуриком набрасывали веревку от саней на трамвайную «колбасу» — металлический штырь, выступающий сзади из-под трамвая, сами садились на елки и ехали по изгибистым улочкам, по тряским трамвайным путям в центр города, где, отцепившись от «колбасы», ставили сани у снежного нагребка, под желтым фонарем на столбе, втыкали в снег елочки и ждали покупателей. Они появлялись из вечерних, уже темных переулков, из магазинов и контор, из трамваев и автобусов. Они окружали нас и, дыша паром, начинали выбирать елки, они крутили их, словно волчки, стучали подпиленными ножками по свинцово-твердому насту — смотрели, не осыпаются ли иголочки. Сколько? Поменьше — тридцать, побольше — сорок копеек. Отщупывали холодную мелочь из кошельков нам в липкие от елочной смолы ладони и уходили с нашими елками в свои теплые квартиры делать праздник.

За пять дней лесных промыслов мы наторговывали рублей 35-40 на двоих. Деньги для нас большие. Все на кино и мороженое не потратишь. Мы купили на базаре больших гипсовых кошек с прорезями в мордастых головах, копилки — и стали копить деньги. Я копил на тренировочный костюм и кеды, а Шурик — на микроскоп... Я удивился, когда он сказал мне об этом, и тогда Шурик под большим секретом, взяв с меня слово, что я никому не скажу, принес толстый альбом для рисования и показал его мне.

Там — она, та самая кобылка с огромными красными глазами, зеленым остроугольным телом и длинной подбрюшной саблей. Дальше во весь альбомный лист — жирная волосатая змея с волнистым телом, остренькими парными лапками, черномордая и ротастая. Я таких змей не видел.

– Гусеница, – сказал Шурик. – Обыкновенная, с тополя.

Потом бабочка полыхнула с альбомного листа, величиной с самолет, с разноцветными кругами на крыльях, с прозрачными вуальными подкрылками, длинными когтистыми лапами, пластинчатым ящерным телом и шариками глаз на длинных антеннах.

– Крапивница, – познакомил меня Шурик.

И так до середины альбома – червяки, улитки, тараканы, клопы, майские жуки – и все – чудовища, в десятки раз больше своих реальных размеров.

– Теперь понял, почему мне нужен микроскоп? Этих я через лупу рисовал, а мелких? Жук-точильщик, например. Я в школе глядел на точильщика в микроскоп – это же фантастический людоед...

Во второй половине альбома были глаза.

– Самое трудное – рисовать глаза, – сказал Шурик.

Огромный шар, словно глобус, уперся в меня черным зрачком. Паутина кровеносных сосудов оплела матовое глазное яблоко, зеленоватая бархотка радужки, окружившая зрачок, словно водоросли в чистой протоке, мягко склонила верхушки к зрачку и невесомо придерживала его в самом центре глаза. В верхнем и нижнем обрезе альбомного листа под тугими розовыми дугами пушились черные закругленные реснички.

– Это глаз коня, – сказал Шурик. – Помнишь, в манеже...

Конноспортивный манеж – около церкви, а дальше вниз – фабрика. Мы с Шуриком ходили смотреть на тренировки наездников. Огромный продолговатый зал, пол опущен опилками. Мягкий шаг красавцев коней, галоп и прыжки через полосатые перекладины-барьеры, тугие фырки бурыми ракушинами мокрых ноздрей, свежий запах конского пота, боковой скользящий взгляд пробегающего мимо коня. Мы часами смотрели с деревянной галереи на выездки и прыжки, хотели сами записаться в секцию, но не получилось. Шурик стал ходить в манеж и рисовать глаза коней.

А еще были сверкающие зеленым глаза собаки – Шурик прикормил бездомную. Глаза коровы – Шурик встретил взгляд этих глаз у

ворот мясокомбината, когда на грузовике с высокими бортами привезли на забой выбракованных в колхозах коров. Я с Шуриком стоял в толпе за костями, у меня на ладони был наскрябан обслюнявленным карандашом сто двадцатый номер, а у Шурика – сто двадцать первый.

Подъехали к железным воротам машины, и, пока ждали, когда ворота откроют, толпа смотрела на мычащих, бьющихся о деревянные перекладины коров.

– Поняли, куда приехали, – злорадно сказал мужик из толпы. – Мя-ясо...

Шурик подошел к машине и глядел на прижавшуюся к заднему борту черную с белыми островками на боках, с обвисшими острьяками мослов корову. Она повернула к Шурику голову в пушистой белой шапочке волос между рогов, и он увидел ее глаз, из него капали слезы.

– Смотри, она плачет, – тихо сказал мне Шурик. – Она знает, зачем ее сюда привезли...

– Инстинкт, – сказал я как можно равнодушнее. Вспомнил свою деревенскую корову, похожую на эту, и мне было до слез жаль и ту в памяти, и эту, еще пока живую. Пахло жжеными костями, бились и плакали коровы. Открылись ворота, и плачущий коровий глаз удалился от нас. Теперь он смотрел на меня с альбомного листа.

А еще были глаза кошки с огромным зрачком и голубым колесиком радужки, белый глаз рыбы, словно отгороженный от мира стеклянной ширмой, черный, с омертвелым блеском серого света глаз птицы.

– Я рисовал с мертвого ворона, – сказал Шурик.

И последним в альбоме был ярко-голубой глаз, с маленьким зрачком, с тонкой опуткой кровеносных жилок, едва заметных на фарфоровой выпуклости глазного яблока.

Глаз сиял в какой-то невидимой солнечной подсветке, льющей из-за границ белого листа, из-за ржаного цвета загибистых ресниц, в которых, словно в соломенной корзинке, лежал этот удивительный глаз.

Шурик, улыбаясь, глядел на меня.

– А это что за зверь? – спросил я, перебрав в памяти всех знакомых мне животных.

– Зверь... Никакой это не зверь, а я! Это мой

глаз. Зверь... — чуть-чуть обиделся Шурик моей непонятливости.

— Ну, ты даешь! — удивился я и всмотрелся в живой глаз Шурика. — Точно — он, — признал я глаз друга на альбомном листе. — Ты здорово рисуешь, — похвалил Шурика. — Тебе на художника надо...

— Вообще-то, я не думал об этом, но мне нравится рисовать, — ответил Шурик.

Может быть, после этого разговора, моей искренней похвалы и решил Шурик стать художником — не знаю, только он записался в Дом пионеров в кружок рисования и три раза в неделю ездил в центр города в роскошный дворец бывшего фабриканта, где рисовал кувшины, чайники, самовары, букеты — то, что в учебной практике начинающих художников называется «постановкой».

А после восьмилетки Шурик принес свои рисунки на конкурс в художественное училище, сдал экзамены и стал учащимся живописно-педагогического отделения.

Мне же дорога была уготована в ПТУ. Форменная одежда, трехразовое питание — в итоге специальность «токарь широкого профиля», а еще была спортшкола и вечерняя школа рабочей молодежи.

С Шуриком мы стали встречаться реже, но все свободное время проводили вдвоем или в сродненной за долгие годы компании окрестных ребят.

Сладость общения с девушками первым познал Шурик. В их училищной компании нравы были богемные, девушки проще и доступней. Взрослея, Шурик становился красивым парнем с необычной золотисто-голубоглазой внешностью, и однокурсницы, понятно, «западали» на него. В такой веселой компании, после бессонной подготовки к просмотрам, успешной сдачи сессии, распития двух трехлитровых банок портвейна и повального сна на койках, матрацах и раскладушках в общежитии, Шурика лишила невинности худая, узкобедрая Жанка, которая змеей подползла к нему на стеганный тюфяк, быстрыми холодными пальцами общупала всего и, расстегнув брюки, начала опытно делать стыдно-сладкое дело. За ночь Жанка ошастливила еще троих одноклассников, сделав их ошалевше-растерянными мужиками.

Начался период в молодой жизни, когда все девушки-красавицы и выпуклости их волнуют и привлекают больше, чем слова. Шурик стал перебирать фабричных и училищных девчонков, а у меня появилась Тамара.

6

Впервые я приехал в этот город к тете тринадцатилетним пацаном.

Тетя, тогда еще с дядей Петей, жила в самом центре Вильнюса на проспекте Ленина в маленькой комнате просторной четырехкомнатной квартиры. В трех других комнатах жили семейные. Дом был старинный особняк, хозяин которого оставил жилье советской власти и уехал в Америку. Чтобы попасть в квартиру тети, нужно было с проспекта завернуть в длинную, всегда сырую пещеру кирпичной арки, которая выходила в овальный двор с кустами и цветником в центре, они были оцеплены кованой изгородью. В этот двор никогда не заходило солнце, в жаркие дни здесь сбраживалась душная влага. Выпаривалась она только где-то на третью неделю жары, и тогда камни двора и стены дома высыхали, оставляя на себе тонкую зеленую пленку, похожую на ряску в стоячей воде.

В период дождей двор отсыревал, сально блестяли камни и кирпичи, веяло холодной сыростью, которую облагораживал запах резины из клумбы, серые облачка этих невзрачных цветов словно плыли по зеленому полю короткой вялой травы.

Коричневая дверь из щербленого, исцарапанного временем дуба. Темное короткое горло подъезда. Второй, очень высокий этаж, выше — чердак.

Тете — три звонка... Неслышные шаги за дверью и сразу голос:

— Кто-о?.. — Отодвигается пружина латунной щеколды, и маленькая седая курносая тетька на пороге.

В те годы люди в Литве жили без «национального самосознания», и поэтому на общей кухне в квартире, где жила тетя, стояли еще три стола — Натана Григорьевича и тети Госи Фрид — именно так я называл ее, по привычке рабочего города, из которого приехал: у нас

если обращались на родной улице, то к дяде Вите, тете Лене, бабе Вале ... и никогда по имени-отчеству, а Натана Григорьевича с отчеством меня попросила называть моя тетя. Наверное, потому, что он был майором государственной безопасности в отставке, многие годы работал с моей тетей в одном ведомстве. Особняк этого ведомства до сих пор стоит в центре Вильнюса.

После освобождения Литвы тетю как безупречную комсомолку направили в Литву для беспощадной борьбы с «лесными братьями». Здесь уже работал черный, кудрявый и улыбочивый Натан Фрид, а Тося Дашкевич — пухлая, полногубая, большеглазая красавица, работала в буфете их ведомственной столовой, Натан уже улестил ее, и они жили вместе пока только по ночам в маленькой комнате общежития, которое находилось тут же на территории особняка КГБ за высоченным кирпичным забором.

В 1956 году выловили последнего «лесного брата» и его боевую подругу, которая жила на хуторе, имела от него троих детей и совершенно не понимала, за что эти строгие военные заломили руки ее небритому Вергилиусу и требуют провести к какому-то «схрону». Он напоследок отстраненным взглядом жидкосиних глаз окинул просторный, осадистый дом с пристройками, конюшней и хлевами, свою Донату, измотанную работой и детьми, и пошел в лес, тяжело вдавливая каблук коротких сапог, снятых еще во время войны с убитого немецкого солдата. Группа с автоматами и снайперша пошли следом.

На опушке леса Вергилиус еще раз оглянулся на свой хутор, стиснул зубы и вдруг тяжело, враскид выбрасывая прямые ноги, побежал в поросль молодого ельника. Бежал он неестественно прямо, чуть откинув плечи назад — мешали бегу связанные за спиной руки.

— Стой! — крикнул Натан. — Идь-ёт! Мать твою...

Автоматчики вытянули стволы, но команды не было...

— Сей-час ми его оста-но-вим, — дробно произнесла снайперша, свернув винтовку с плеча. Она неторопливо сняла колпачок с трубки прицела, выдвинув вперед костлявое

бедро, уперлась в него локтем, изготовилась к выстрелу, прицелилась, оскалив желтые от курения мокрые зубы.

Натан не давал команды. Все ждали. Бежать Вергилиусу было некуда — впереди редкий сосняк, за ним река. И когда хуторянин стал заворачивать влево, метя в густой осинник, Натан отрешенно скомандовал снайперше:

— Ну, теперь останавливай...

И она почти без паузы после этой команды нажала на курок.

Пуля ввинтилась в спину Вергилиуса, просквозила через легкое и сердце, излетной силой раздробила грудинную кость и расплющено замерла, превратившись в черный спекшийся сгусток.

Вергилиус падал на землю уже мертвый, на секунду только удивившись своему новому состоянию: боли, легкости, звону, усиленному в десятки раз тошнотворному запаху теплой смолы и хвои, и какому-то неземному гулу, который шел с небес и прижимал Вергилиуса к мягкому лесному настилу из прелых листьев, колких хвойных веток и бархатного мокрого от корешков мха.

— Бибис нори... — мрачно ругнулся Натан, стоя над убитым. — Могла бы по ногам, — упрекнул снайпершу, которую звали Марта.

И когда их команда возвратилась на хутор и начала обыскивать дом и пристройки, Доната с неизбежностью того, что сейчас получит неминуемый страшный ответ, тихим выдохом спрашивала:

— Где он? Где он? — И все глядела оледеневшими глазами на Марту, может быть, потому, что убийца ее мужа была маленькая и худенькая, а винтовка у нее была несоразмерно большая и тяжелая. Марта курила в глубокий затяг, выдувала дым в сторону и загадочно улыбалась.

Доната перевела глаза на мою тетю и ее начала спрашивать так же тихо и отчаянно:

— Где он?

А тетя не могла ответить и даже разговаривать не могла с пособником «лесного бандита». Ответил Натан:

— Он пытался убежать... Там он, на опушке...

Доната рванулась к двери.

— Стой! — крикнул Натан, и моей тете приказал: — Обыщи ее...

Руки тети скользили по мокрой исподней рубашке вмиг увлажненного горячей испариной дрожащего тела...

До конца своих дней вспоминала тетя тот обыск, мертвый взгляд Донаты, дрожь ее тела и съездившихся в крендельки трех малых детей: белобрысого мальчишку и двух таких же беленьких девочек-погодков с прозрачными и мокрыми, словно речные камушки, глазенками...

Все это рассказала мне тетя спустя десятилетия. Говорила она тихим голосом, подальше от двери в коридор, потому что Марта, или теперь тетя Марта, жила в крайней по коридору комнате и на кухню она проходила мимо тетиной двери. Ее стол располагался рядом со столом Натана.

Так я и помнил для себя тетю Марту — «снайперша». Сейчас это была благообразная, в строгих костюмах пятидесятилетняя женщина, с короткой, в кружок по худенькой шее, прической, улыбчивая, звонкоголосая. Она уже не курила. Семьи у нее не было, детей не могла иметь из-за ранения. С мужчинами была строга и разборчива. Тетя знала ее ухажеров, в основном людей в погонах, со звездочками не меньше майорских. Работала Марта в республиканском МВД, кажется, была начальником какого-то спецотдела.

Натан Григорьевич после отставки нигде не работал. Он каждый год ездил в ведомственный санаторий — лечил язвы желудка. Язв у него было много, и они прибавлялись каждый год. По крайней мере, в каждый мой приезд к тете у него уже была новая язва.

— Жь-елудок, жь-елудок! — говорил он, выходя на кухню в своей вечной шелковой полосатой пижаме и большой пухлой ладонью кругами поглаживая живот.

С годами Натан Григорьевич из красавца еврея превратился в Наташу — так звала его жена, тетя Тося. Он обрюзг, поседел. Бывшая красавица Тося стала полной и бесформенной, вдобавок она начала курить и дымила не переставая. Даже когда готовила на кухне, у нее в зубах торчала папироса. Иногда пепел на конце папиросы сгибался и обламывался в кастрюлю с супом. Тетя Тося зыркала по сторонам, бросала папиросу в пепельницу вели-

чиной с тарелку и продолжала готовить обед. Соседи по кухне, конечно же, замечали это и называли Тосинустряпню «супом с дымком».

Натан из-за спины Тоси вилоккой шустро накалывал котлетину и в один кус изжевывал ее.

— Наташа-а! Ну подожди-и же! — объемной хрипотцой укоряла мужа тетя Тося.

— Жь-елудок, жь-елудок, — полным ртом жужукал Натан, глядя живот, и в который уже раз объяснял кухонным соседям: — Язвы, язвы все съедают. Жьелудок должен быть полным.

Иногда мне казалось, что у Натана Григорьевича в желудке была сплошная язва, так много и часто он ел.

Через год после войны у них родилась дочь, и они назвали ее Алдона. Почему они выбрали это литовское имя, трудно сказать. Не могла же семья Фрид предвидеть ломку устоявшегося строя и, как следствие этого (а может быть, и причину), воспаленные приступы «национального самосознания»? По крайней мере они этим именем обезопасили будущее своей дочери от национальных притязаний. Алдона вышла замуж за Альгимантаса, а их дети еврейско-литовских кровей во время перестройки благополучно покинули Родину и обосновались в Швеции.

Четвертый стол на кухне принадлежал русско-польской семье: бабушка — пани Ядвига, ее дочь — пани Зося, муж Зоси Иван и их дочка Рая, в мой первый приезд — четырнадцатилетняя, беловолосая, с черненькими глазами, коренастая девочка, мне ровесница.

Пани Ядвигу все коммунальные сожители звали бабушкой. Она не только не обижалась, но сама просила так ее называть. «Пани Ядвига...» — сказала тетя в первый день моего приезда, знакомя с соседями. «Бабушка», — быстро вставила Ядвига, протягивая мне восковую, словно скрученную в трубочку, ладошку. На меня смотрели совершенно чистые, всепонимающие и, как ни странно, не чужие глаза. Она была худая, с полусогнутой спиной, шаркающей походкой, чтобы не мешать соседям, ходила по коридору в тапочках на войлочной подошве. Она готовила на кухне в длинном фартуке, волосы убирала под зеленую островерхую плющевую шапочку, напоминающую шапочку ксендза. Эта шапочка держала в сво-

ем worse все кухонные запахи, и, когда бабушка выходила на лестничную площадку к почтовому ящику, вкусные запахи срывались с ее шапочки, обволакивали коридор, просовывались в замочные щели соседних квартир и выбивали слюну даже у сытых людей. В некухонное время бабушка ходила в коричневой тонкой вязки кофте, длинной юбке и обязательной белой или кремовой блузке с продольным кудрявым жабо — под подбородком была приколата большая овальная брошь из финифти с изображением Божией Матери.

Пани Ядвига была католичкой и ходила на службы в костел Петра и Павла за мостом. Возвращалась тихая, улыбчивая, совершенно отстраненная от коммунального мира, да, видимо, и от огромного людского мира. Из большой черной сумки с медной двузубой защелкой она вынимала молитвенник в кожаном латаном-перелатанном чехле, старинные янтарные четки, некогда идеально круглые бусины которых от долгого перелизывания ладонями превратились в окатанные камушки неправильной формы. И, наконец, со дна сумки она доставала длинную, словно карандаш, конфету в слюдяной обертке и молча, с улыбкой протягивала ее внучке, которая напряженно смотрела на сумку бабушки с самого прихода ее из костела.

Ее дочь пани Зося — маленькая, кругленькая, на людях веселая и смешливая, а в семейной жизни Зося была неизлечимо больна ревностью. Когда большой, выпукло мускулистый Иван приходил со службы, от его витого узловатого тела саднуче тянуло потом. Он сбрасывал ремень и португею, стягивал большеразмерные трубы хромовых сапог, и они в углу блестящими сборенными шкурками опали на толстые, двойной набивки косолапо стоящие подошвы. Сволакивал через голову гимнастерку. Отваливался на кожаный диван, закидывал голову и, шевеля раздутыми красными пальцами ног, расслабленно и блаженно дышал. Пани Ядвига с внучкой уходили на кухню. Наступало время Зоси. Она разглядывала, нюхала, мяла китель, у галифе она внимательно проглядывала ширинку, пробовала ткань вокруг нее на заскорузлость и все это опять пронюхивала цепким остреньким носи-

ком. Прицепившиеся к гимнастерке волосы она вытягивала двумя наманикюренными пальчиками, подносила к свету, определяла длину и цвет волоса, домысливала, кому он мог принадлежать. Зося искала и находила, и тотчас начиналась подготовка к взрыву, словно шипящий бикфордов шнур раздавалось вопрошение Зоси: «Ш-ш-што это? Это ш-ш-што? — Она на вытянутой руке подносила подозрительный волос к равнодушному лицу мужа: — Это ш-ш-ш-што?» И, не дожидаясь ответа (а ответ ей не был нужен), она взрывалась... Трудно передать слова и сочетания, которые вызванивались из маленького красненького рта пани Зоси. Это так же невозможно, как проследить за осколками после взрыва гранаты. Слова летели и вкривь, и вкось, острые, колючие, по мнению Зоси, убойные своей неопровержимостью. А Иван? Он улыбался тугощeko и добро и лишь изредка гудящим, словно сквозняк, голосом отмахивался: «Ну, бу-удет, бу-удет...» Минут через двадцать ревнивые силы пани Зоси иссякали, раскаленные выкрики начинали остужаться обливистыми слезами, она впадала в протяжный самозабвенный плач, который, в свою очередь, утишаясь, переходил в тихое однотонное скуление, похожее на подвывание собачки перед долго не открываемой дверью. Иван, дождавшись этой завершающей сцены, голосом, похожим из-за двери на глухой бой большого барабана, начинал говорить жене всякие успокаивающие слова, какие говорят подавляющее большинство мужчин, волею судьбы и характера жены вовлеченных в такие домашние сражения. Вскоре в барабанный гул Ивана начинал вторгаться звонкий подсвисток пани Зоси, а потом гул и звон стали равномерно чередоваться, входить в размеренное постоянство, и завершалась вечерняя смычка супругов ошеломительным хохотом Зоси и окатным басистым смехом Ивана. Это был знак для бабушки и внучки — они уходили с кухни в свои комнаты. Оживали и затаившиеся соседи: в их комнатах начинали звучать инородные голоса — это включались телевизоры, хлопали двери, люди шли на кухню готовить ужин.

Соседи привлекли к скандалам Зоси, жалели Ивана, удивлялись его выдержке. Зося, в свою

очередь, никогда не выносила на коммунальное обсуждение свои ревнивые переживания и всегда на кухне была естественно весела и хохотлива.

На праздники коммунальное общество собиралось обычно у Натана Григорьевича, потому что у него была самая большая квартира из двух комнат. Столы были заставлены разнообразными блюдами с необыкновенно вкусной стряпней тети Тоси. Я уже не помню названия блюд, но отчетливо помню вкус рыбы по-еврейски, мяса по-польски, картошки по-литовски, ну и засолов по-русски. Водок и настоек мне тогда не наливали (хотя в своем городе я уже знал силу ударов по мозгам разных портвейнов, вермутов, кагоров и другой опойной нечисти, объединенной одним кодовым словом «бормотуха», которая разливалась в толстые граненые стаканы в многочисленных кафе, которые тоже носили художественные названия «аквариум», «стекляшка», «чапок»). На столе Натана Григорьевича, конечно же, никаких низкопробных убойностей не было, а стояли бутылки с какими-то витринными наклейками. Впрочем, сам Натан, да и большинство его гостей, выпивали обыкновенную водку с красной московской этикеткой.

После третьего тоста приступали к застольным песням. Начинали с Хазбулата удалого, у которого бедная сакля, потом пели о бродяге, бежавшем с Сахалина, переходили к военным песням про скромный синий платочек, а потом, кто что вспоминал — начинал запев, и если более двух застольщиков подхватывали, то песня продолжалась, если же большинство за столом слов не знали, то песня, вознесясь двумя-тремя фразами и не подхваченная другими голосами, бесследно растворялась в густом праздничном воздухе комнаты.

Потом пани Зося своим звонким голосом пела польские песни, иногда ей скромно подпевала бабушка, она, словно девочку за локоток, поддерживала и поправляла дочку: мол, вот в этом месте не перекивай, поровней, потише... И Зося благодарно переводила взгляд на мать и, спохватившись и приняв урок, пела, не отрывая глаз от матери. Иногда в песню жены от переизбытка чувств и выпитого, трубным гласом врвался Иван. Он старался приспособиться к голосу жены, гудел польские слова в

треть силы, к тому же нещадно перевирал их, неласково пшека, и любовные объяснения парня в песне звучали у Ивана угрожающе.

Из польских песен пани Зоси я запомнил всего несколько фраз: «Дивчина верна... Пани, пани, звезды в небе...» — да, пожалуй, и все.

Потом начинали петь супруги Фрид. Запевала тетя Тося. Глуховатым, волнисто-перекатным голосом, приклонившись к Натану, но не касаясь его, она начинала песню на языке, который я услышал впервые. «Хаванагила, хаванагила! Вэ нисмэха-а!»

На припеве к песне припадал Натан. Эти слова у него взвивались, словно лента на ветру, и долго трепетали в двухструйности голосов — его и жены. «Хава-а на-а-а-ги-ила-а! Хава-а на-а-а-ги-ила-а!»

Я потом, по простоте душевной, спросил Натана Григорьевича, что означают эти слова? Оказалось, что это еврейская застольная песня «Давайте радоваться, давайте радоваться, ликовать...»

Они пели еще, и я запомнил часто повторяющееся слово «Шалом». Супругам Фрид застольщики не подпевали, потому что не знали этих песен, лишь Иван подгудел в одном месте «Шало-о-о-ом!». Но Зося так больно толкнула его коленкой в бедро, что Иван сконфузился и опрокинул в рот внеочередную граненую стопку водки.

Не пела за столом только Марта.

— Я совсем не умею петь, — чеканно объясняла она. — У меня на ушах живут медведи...

— Ну, тогда спляши! — требовала тетя Тося. А плясать Марта умела, и она знала, что ее попросят сплясать. Она обувала принесенные с собой туфли на деревянных подошвах, выходила на оголенный пяточок возле стола и плясала какой-то народный литовский чечеточный танец, ловко выбивая сухонькими ножками рассыпчатую, мелкодробленую мелодию.

Что-то подобное я видел на выступлениях народных фольклорных групп в парке «Винигис», где на сцене под огромной «ракушкой» собирались народные хоры со всей литовской земли в национальных узорчато расшитых одеждах, и были пляски, когда парни и девушки, стоя в хороводе и двигая только ногами в жестких обувках, слаженно и звучно дробили танец.

Раскрасневшаяся, как-то сразу помолодевшая Марта больше одной пляски не совершала из-за соседней снизу. Ей хлопали, говорили хорошие слова. Она садилась за стол, и у нее еще долго подергивалось тело, трепетали мышцы на ногах, дрожали руки и губы.

А потом снова пели «Подмосковные вечера», «Окрасился месяц багрянцем» и другие общенациональные песни... Так отмечались праздники.

На дни рождения соседи приглашались к именинникам, и репертуар был примерно одинаков.

Спустя годы, когда появилась эта мышеловка, именуемая «национальным самосознанием», я понял одну очень простую истину, что это самое «национальное самосознание», а вернее — «самоосознание», было всегда и проявлялось оно в уважении себя и своего соседа. И евреи как нация на то время были для меня Натан Фрид и тетя Тося, поляки — пани Зося и бабушка, литовцы... Тетя Марта была для меня личностью легендарной и совершенно не отделенной от моей тети.

7

Соседями в пригородной части дома, куда мы переехали из села, на протяжении многих лет было семейство Наумовых: мать — тетя Гриппа, ее дочь Тамара и три сына — Колька, Витька и Юрка. Тамара была тихая девушка, изящная, круглолицая, с большими глазами и черными лоснящимися волосами, которые она заплетала в косу. Она была старше меня года на четыре, училась в десятом классе и была бы красавицей, если бы не природный изъян — ее тело почти сплошь было покрыто угрями, особенно сильно было осыпано ими лицо. Началось это лет с тринадцати и к семнадцати превратило кожу девушки в пупырчатую воспаленную болячку. Чем только она ни лечилась — и медицинскими, и народными средствами! Порошки, притирки и примочки. Делали переливание крови, но ничто не помогало. Тогда врачи и лекари махнули рукой и сошлись на одном методе лечения: «Выйдет замуж — все как рукой снимет...»

Но как найти мужа, если парни не подходят,

на танцы идти стыдно, если красные прыщи выступают даже на губах, кожа на лице пережжена компрессами, багровая и шелушится сухими опилками. Утро начинается с выдавливания перед зеркалом появившихся за ночь гнойничков и прижигания их спиртом или тройным одеколоном. Вечером перед сном — то же самое.

После окончания школы Тамара не стала учиться дальше, хотя аттестат получила без троек. Пошла ученицей на швейную фабрику и при ее усидчивости и понятливости стала хорошей швеей.

Женщиной Тамара стала в двадцать лет — от отчаяния и обреченности. Ей уже открыто стали говорить и родные, и подруги, мол, что ты бережешься, себя изводишь, если это единственное лекарство, то и надо его принимать.

На вечере в фабричном Доме культуры припудренная, покрашенная, в новом платье, обхватившем ее точеную фигуру, с распущенными черными волосами, почти закрывающими ее изьяны на щеках и шее, Тамара стояла с двумя подругами у стены и ловила дальние взгляды парней. Она не понимала истинной причины этих взглядов. Она думала, что они видят ее щербины на коже, и стыдливо отворачивалась от этих взглядов, но натыкалась на другие, назойливые и бесстыдные. В зале был полумрак, играла музыка, и Тамаре захотелось уйти, но ее пригласил на танец один парень, потом — другой, третий, и она, совершенно ничего не понимая, танцевала в плотной толпе танцующих, и какой-то тайный, тихий вопрос словно подергивал ее за длинный рукав платья и шептал только ей: «А что же будет дальше?»

А дальше всех других парней оттеснил в конце вечера тот самый, первый. Звали его Вениамин, по-простому — Веня, и был он помощником мастера в цехе, где работала Тамара. Он и на работе посматривал на нее, но натыкался на безразличие.

Он предложил проводить ее домой и, не дожидаясь согласия, взял ее руку, мягко защемил у себя под мышкой и с какой-то медвежьей галантностью повел Тамару к выходу.

Около дома они сидели на лавочке, и в тихой летней ночи он целовал Тамару в губы жадным, втягивающим ртом. От него пахло вод-

кой, табаком и одеколоном «Шипр». Она дрожала, ей было жарко, тело пробивал не знакомый доселе приятный зуд. И когда его ладони настырно запружинили по ее груди и бедрам, она вскочила и побежала к калитке. Он задержал ее, пришептывая: «Ну что ты... Что ты, я не хотел, извини...» Они стояли и снова целовались, и опять ее будоражило незнакомое наслаждение.

Они стали встречаться, через месяц в комнате общежития, где Веня жил один, на казенной койке с панцирной сеткой и ватным стеганым матрацем Тамара стала женщиной. Боль, сладость, беспмятство — все спеклось в этом мгновении. Когда же она осознала себя в этом новом качестве женщины обласканной, обцелованной, желанной для каждодневных ненасытных обладаний, то удивилась своим прошлым страхам, стыдливости, нечистой больной коже, боязни людских взглядов. Оказывается, все гораздо проще — надо только не противиться проявлениям чувств: ее к мужчинам и мужчин к ней. Надо только поймать это чувство и определить, искренно оно или наигранно.

Веня был не только влюблен в нее, но совершенно ошалел от своего чувства, и потому меньше чем через полгода каждодневных бурных встреч Тамара почувствовала усталость и раздражение. Раздражение стало возникать без сколь-либо веской причины: запах табака изо рта Вени, сперва он возбуждал ее, а потом стал неприятен. Это молчаливое животное заваливание ее на кровать, едва они заходили в его комнату. Однажды он сделал ей больно, стиснув плечи, и она оттолкнула его. Он обиделся и долго курил на кухне, а потом бледный, с трясущимися руками, стал ругать матом свою сестру, которая якобы нагуляла без мужа ребенка и не знает от кого, и Тамара почувствовала, что ругает он этими грязными словами ее. После бранного выпада он без перехода предложил Тамаре выйти за него замуж. Сказал он это скороговоркой, неуверенно, может быть, случайно, и она, тоже совершенно неожиданно для себя, отказалась и ушла. Не встречаясь с ним несколько дней, почувствовала облегчение и желание пожить другой жизнью, без Вени.

Как и предполагали медики и знахарки, это

лечение оказалось самым действенным: кожа Тамары очистилась и разгладилась, и только на лбу и щеках остались кругленькие щербинки после выдавливания особенно больших гнойников. Очистились и вечно блестящие, слипшиеся от избытка кожного сала волосы. Тамара постриглась, и теперь густые черные волосы пушистой шапкой обрамляли круглое, на длинной шее лицо.

Веня настойчиво преследовал ее. То ласково, то с угрозами требовал свидания, звал в жены. Но у Тамары был уже другой, и в сравнении с ним Веня проигрывал, а потом появился третий, четвертый... И по пригороду тополиным пушком гульнул шепоток: «Тамара-то слаба на это дело, парней меняет, как чулки...»

Веня запил, потом женился, снова запил и развелся. Пьяный рвался в дом к Тамаре, ударил ее по лицу. Братья поколотили Вению. Выбили денег на пол-ящика водки. Напились сами и окончательно упоили его, да еще заставили закусывать хозяйственным мылом. Напоследок сделали Вене «самолет» — раскрестили руки в стороны, и в пиджачные рукава просунули черенок от лопаты, пиджак застегнули на все пуговицы. Вывели на трамвайную остановку и посадили на скамейку, сказав: «Орлята учатся летать».

Была ночь, и кондукторша последнего дежурного трамвая — женщина, повывавшая много всего в буйном пригороде, говорила потом, что такого отродясь не видывала. «Сидит человек пьяненный, из рукавов торчат палки, как вешалки, в стороны, и хлещет у него из двух дыр, как из шлангов, пена не пена, а как-то жидель... Я палку-то выдернула, а он — му-му, да газует беспрестанно. Страх. На задней площадке довезла его до скорой помощи. Ведь надо же так напиться!»

Братья Тамары были, по выражению соседки, «оторви да брось». Любая каверза, сотворенная на улице, без разборки приписывалась братьям. Были они погодки, ходили в одну школу — пятый, шестой, седьмой класс. Учились плохо. Учителей начинала пробивать мелкая дрожь, когда братья вместе сходились в коридоре школы. Значит, жди: измазанной гудроном лестницы, дохлого голубя на плафоне, живых мышей в классах, иголки в стуле

учителя, обмазанной клеем дверной ручки, за которую первой бралась учительница, заходя в класс. Не говоря уже о подломанных ножках учительских стульев, с которых заваливались на пол строгие педагоги под гогот класса.

«Кто это сделал?! – грозно звучал риторический вопрос взбешенного педагога. – Наумов, это ты?!» Всклоченный, угреватый-непромытый младший Колька, мотая вихрастой головой, тупо тянул: «Чи-иво?» – «Завтра с матерью».

Приходила мать, плакала, шлепала Кольку по затылку, а вечером на лавочке у дома со слезами и смехом рассказывала соседям об очередной проделке сына.

Когда братья один за другим прощались со школой после восьмилетки, учителя обводили красным карандашом числа и праздновали эти счастливые даты избавления от напасти, именуемой Наумовыми. Братья оставили на большой входной двери школы автограф. Черной масляной краской написали: «Нехадите дети в клас, дядя федя – фантамас». Директора школы звали Федор Федорович, был он совершенно лысый и неуклюжий. По тому, как это послание было написано, по количеству ошибок, определили сразу – Наумовы! Но от радости, что больше этих ... не увидят, не дали делу ход.

А на улице! Пронесется ошалевшая собака с привязанной к хвосту гремящей консервной банкой – Наумовы. Шмякнется с деревьев на тротуар лягушка размером с резиновую грелку, раздутая через задний проход, – Наумовы. Забьется стукалка в темную полночь в окно – Наумовы. А одному соседу на улице, вредному мужику, который попенял тете Гриппе на воспитание сыновей, они устроили «сеанс чистых рук». Мужик этот в частном доме вывел на уличную калитку кнопочный звонок. Братья осенней ночью (фонарей на улице не было) заклинили кнопку на непрерывный звон спичкой и обмазали звонок собачьим г... Мужик вырвался из калитки, стал шарить по доске, к которой он с любовью прилаживал звонок, и... Мат столбом ввинтился в ночное небо, обрушивался на близлежащие дома. Мужик понял, что это Наумовы, но... не пойман – не вор.

Последним громким делом братьев Наумовых было дело под названием «веселое поле-

но». Дома в пригороде отапливали тогда дровами. Поленницы колотых дров прислонялись к сараям. И у соседа (вредного мужика) поленица возвышалась до самой крыши сарая. Наумовы соседствовали с ним огородами.

В этот день братья, пошушукавшись с утра, ушли в сарай и там что-то пилили, долбили, склеивали, а потом младший Колька-Чива узенькой тропинкой пробрался в огород соседа и положил толстое березовое полено на то место, где сосед брал вчера охапку дров. Надо сказать, что это полено было из поленицы соседа: накануне его выкрал средний Витька и принес в свой сарай.

Братья затаились, стали наблюдать за домом соседа. Вот он вышел, набрал охапку дров, прижал подбородком и унес.

В трубе гульнул дымок, сначала легкий, а потом все гуще и гуще. Братья едва дышали. И вдруг из трубы вырвался огненный шар с искрами, донесся глухой хлопок, словно стукнули палкой по пустой бочке. Братья затряслись в судорожном смехе.

К середине дня все на улице знали – у соседей Наумовых взорвалась печка. Не совсем чтобы вдребезги, а выбило заслонку, вышвырнуло в кухню головешки и угли. Хозяйка дома в валенках и пальто, впопыхах накинутом на халат, выскочила на улицу, плакала навзрыд и кричала истерично:

– Житья нету с ними! Люди добрые, помогите избавиться от этой чу-умы-ы!

Конечно же, этот вопль относился к братьям Наумовым.

Приходил участковый. Тетя Гриппа ругалась: «Это что, опять мои?» Братья так искренне отнекивались, а Колька тянул свое «Чи-иво?», что участковый засомневался в виновности братьев и сказал соседям, чтобы они смотрели на то, что суют в печку. У соседа стал после этого дергаться глаз и немать рука, а его жена путала, когда нужно плакать, а когда смеяться.

Конечно, полено зарядили братья. Они купили десять больших коробков спичек, отломали головки, выдолбили в полене углубление, забили его спичечными головками и ровненько замаскировали взрывной тайничок...

Что удивительно, при такой безбашенности братьев они безоговорочно любили мать и

сестру. Не дай бог, кто-то их обидит — долго будет потом жалеть...

Братья выросли. Как и большинство в пригороде, стали выпивать и драться в разборках и сходах, но до тюрьмы дошел только младший Колька-Чива. Он сел «по хулиганке». Ткнул ножом в ягодицу пришлого из другого района парня. Парень провожал девчонку после танцев. Был с виду крепкий, в брючках, обтянувших тугую задницу. Кольке не понравилась эта обтяжка. Он громко дал название фасону брюк и тому, кто их носит. Парень перед девушкой решил не сробеть — ответил Кольке словами из того же лексикона. Но когда увидел ножик в руках Кольки — побежал. Колька догнал его и на бегу воткнул ножик внатяг работающую выпуклую мышцу парня...

Кольку взяли утром. Вечное «Чи-иво!» не помогло. Дали три года. Отсидел два. Вернулся с наколкой на предплечье и железной фиксой. Покрутился в пригороде, попил винца и завербовался на дальневосточный рыбный промысел, да и сгинул лет на десять.

Юрка и Витька отслужили в армии — оба в стройбате, где как в поговорке: «Два солдата из стройбата заменяют экскаватор». Привезли из армии по пачке денег, оделись, женились, разъехались в разные районы города, появлялись у матери только за тем, чтобы она посидела с внуками или занять денег.

Я захватил их совместное проживание с матерью и сестрой, когда старший Юрка готовился в армию.

А Тамара? Мне было шестнадцать лет. Я занимался в спортшколе, бегал и качался. Во дворе лежала самодельная, собранная из шестеренок штанга.

По вечерам мы бегали с Шуриком кроссы. У него во дворе оборудовали ринг и колотили друг друга и многочисленных друзей расхлупанными боксерскими перчатками. «По будяре его, по будяре!» — кричал Шурик, подбадривая спарингующихся, бестолково махающих руками пацанов. Однажды в калитку заглянул участковый: «Что, на большую дорогу готовитесь?» — спросил ехидно.

А Тамара? Она проходила огородом в мой дворик, садилась на крыльцо и как-то странно, с полуулыбкой смотрела, как я вытягиваю штан-

гу, делаю приседания, сбрасываю ладонью пот со лба. Если появлялась моя мать, Тамара молча вставала и уходила так же, огородом, к себе.

— Что она тут делала? — настороженно спрашивала мать.

Я пожимал плечами:

— Да так... Смотрела.

— На что ей смотреть-то? — ворчала мать. — Я вот ей скажу...

Но, конечно же, ничего не говорила. Да и что бы она сказала?

Мать работала на кондитерской фабрике в трехсменке. И я оставался один. Тамара узнала график работы матери и приходила, когда ее не было дома.

После летних тренировок я обычно сидел на лавочке, загорал. Тамара садилась рядом и гладила мне спину и плечи и как бы без интереса, просто для разговора, спрашивала:

— А девочка у тебя есть? Ты дружишь с девочкой?

— Да ну, какая девочка! — грубовато отвечал я, чувствуя, как приятно мне это ее поглаживание.

— Пора уже дружить, — с тихим смехом говорила Тамара, задирая мне волосы на затылке, а потом опять гладкой щекочущей ладонью проводила по плечам и спине.

Я глядел на ее лицо и не понимал, отчего у нее так наливаются и влажнеют губы, блестят и щурятся глаза, бледнеют щеки и шея.

Однажды она не пришла на мою дворовую тренировку, а постучала в комнату.

— Ты один? — спросила. Хотя знала, что один.

Я ел макароны с котлетами.

Тамара села на диван и, улыбаясь, глядела на меня.

— Дай попробовать, — попросила.

Я хотел дать ей вилку, но она остановила:

— С твоей...

Я наткнул макароны и протянул ей, подставив ладонь под вилку. Тамара медленно стянула полными губами макароны с моей вилки. Макаронина упала мне на ладонь. Тамара быстро языком слизнула ее с моей ладони. По моей руке словно прошел ток. Я растерялся. Она увидела это и засмеялась каким-то незнакомым чужим смехом. Это была уже не Тамара, моя соседка, которую я хорошо знал, а другая, не известная мне женщина.

Я сидел раздетый по пояс, в трико, и меня вдруг охватил жар, я увидел вновь возникшую передо мной Тамару совсем другой, посторонней женщиной в ситцевом платье, обтянувшем ее грудь и бедра, я увидел на ее животе встопорщенный открытый треугольничек между двух застегнутых пуговичек, в котором матово обнажилась кожа.

— Ты умеешь целоваться? — вдруг серьезно спросила она.

Я не знал, что ответить. Я целовал девчонок-одноклассниц на ночных гулянках, но это была лишь слегка будоражащая игра.

— Поцелуй меня, — уже вполголоса попросила Тамара. — Попробуй. Садись рядом, — она подвинулась на диване. Я сел рядом. Она подставила влажные губы, и я поцеловал ее так, как целовал девчонок — лишь слегка втянув ее губы.

— Не так, — Тамара обхватила мою голову руками и сама обволокла мои губы своим горячим ртом. И меня повело какое-то иное, неразумное, неконтролируемое чувство. Я начал мять тело Тамары и целовать ее грубо, взасос. На секунду она оттолкнула меня, сказала хриплым рассудочным голосом: «Запри дверь!» Я накиннул крючок и повернулся к Тамаре, она уже расстегнула платье и стояла перед диваном без лифчика и трусиков. «Она пришла без них...» — мелькнуло у меня. А потом только поцелуи и шепот Тамары: «Не спеши, не спеши...» Она направляла мои сумбурные действия. Я едва успел войти в нее, как уже забился в сладких судорогах. Стискивал плечи Тамары, вжимался в ее живот. «Тише, тише...» — шептала она.

Все произошло настолько быстро, что я осознал себя уже сидящим рядом с ней и она, поджав ноги на диване, гладила мне волосы и грудь мокрыми от моего пота руками.

— Мальчик, мальчик... — шептала она. — Я первая — да? Первая. Иди вымойся...

Вымылась и она.

— Иди ко мне. Сейчас будет лучше... — Она прильнула влажным, прохладным от воды телом ко мне и начала бесстыдно, упруго ласкать мое тело. Малого прикосновения хватило для возбуждения. Я лег на Тамару и уже чувствовал ее всю. Я целовал ее глаза, губы, лоб, шею. Она, захлестнув свои руки мне за спину, при-

поднимала и втягивала меня. И вдруг она прерывисто задышала, застонала, забилась подо мной, словно хотела сбросить меня, но не отталкивала, а, наоборот, вонзилась ногтями мне в позвоночник и вдавливала мое тело в себя. Я почувствовал испуг, это передалось ей, она на секунду открыла глаза, выдохнула: «Хорошо...» и снова забилась и застонала.

С этого дня Тамара стала приходить ко мне. Была животная страсть двух молодых тел. Тамара была моей первой женщиной, и я думал тогда, что люблю ее единственно и навсегда. Я говорил ей, что вот мне через два года будет восемнадцать и мы поженимся. Тамара ничего не отвечала, а только улыбалась с легкой грустинкой и покачивала головой.

Первой что-то заподозрила мать.

— Ты, говорят, с Тамаркой связался? — спросила она напрямик.

— С какой Тамаркой? — изобразил я удивление, но, видимо, изобразил фальшиво, поэтому мать не стала уточнять — какая Тамарка.

— Ты с ума-то не сходи! Она на сколько тебя старше? Нужен ты ей... Она уж полгорода через себя пропустила, смотри — заразу подхватишь!

— Да ты что, мать, несешь всякую ерунду, — впервые я сильно обиделся на нее. Обиделся, конечно же, на больно резанувшие слова «пропустила через себя».

— Я тебя предупредила, сам гляди — станешь посмешищем, — уже без напора закончила мать и добавила: — Давай-ка к тете в Вильнюс съезди, у тебя еще месяц каникул.

— Сначала — в колхоз на уборку... — буркнул я.

— Вот и хорошо.

При очередном свидании я передал разговор с матерью Тамаре, опустив только самые обидные слова.

— И меня мама пробирала, — обреченно сказала Тамара. — А ты поезжай к тете...

Я возмутился: как же так, я без нее.

Она улыбнулась очень взросло, грустно:

— Глупый ты еще. Чем скорее ты уедешь — тем будет лучше мне и тебе...

Мне лучше не было, я думал только о Тамаре. Я уехал на картошку — рядом была Тамара, я ходил в клуб на танцы — и Тамара танцевала со мной, я купался с парнями в речке — и рядом хохотала в брызгах Тамара. Особенно му-

чительно я переживал ее отсутствие, когда ложился спать и Тамара лежала рядом. Вспомнил ее всю: ее тело, ласки, ее шепот... Мобильников тогда не было, писем мы друг другу не писали. И когда я в конце августа вернулся с картошки, мать как бы между прочим бросила: «А Наумовы-то уехали. Новый дом купили где-то в ... — и назвала дальний пригород. — И она замуж выходит за своего «летчика» (так называли Веню все знавшие о том, что сотворили с ним братья Наумовы).

Я разговаривал, ел, смеялся, ходил в каком-то отстраненном оцепенении. «Как же я без нее! Не увижу, не поцелую... — отчаяние, обида. — Почему она так со мной?»

Выручал Шурик. Он упорно тянул меня на танцы. Знакомил с девчонками. Я провожал их, по инерции целовал. Но после Тамары все эти ласки и обжимания в ночных сквериках были скучны, безвкусны, а потому коротки.

Я понял, что должен увидеть Тамару, поговорить с ней. Без этого моя жизнь просто буксовала: я стал пропускать тренировки, забросил учебу, в таком состоянии белый свет не мил.

Я встретил Тамару после ее вечерней смены, у проходной фабрики. Я встал так, чтобы она увидела меня, и она увидела, что-то шепнула двум подружкам, а сама пошла в сторону, в темную часть улицы. Я понял и пошел за ней. Я догнал ее и некоторое время шел молча на шаг от нее. Она повернулась ко мне, в вязаной кофточке под горло. Та прежняя, долгожданная Тамара. Увидел ее светящиеся в ночи глаза, влажные губы и почувствовал, что сейчас заплачу. Я думал, что она начнет упрекать меня, прогонять, но увидел ее усталое, счастливо-измученное лицо, и вдруг взрослым мужским чутьем понял, что она тоже страдала, как и я, и она мечтала об этой встрече.

— Жди меня здесь, — сказала она, побежала к проходной фабрики и скрылась за дверями. Минут через десять она вышла из проходной.

— Взяла ключ от комнаты у подруги...

Эта последняя наша ночь в общегитии... Мы отрывались друг от друга только на время короткой передышки, как боксеры между раундами. Мы плакали от счастья, и я целовывал Тамарины слезы. Это было неистовство, беспамятство, совершенно неземное мгнове-

ние жизни. Под утро провалились в сон. Когда я проснулся, Тамара, умытая и причесанная, сидела у стола и глядела на меня.

— Вставай, — сказала она, увидев, что я проснулся. — Нам надо поговорить...

Мы сидели друг против друга. Я улыбался сладко и глупо, а Тамара отводила глаза, старалась сейчас не смотреть на меня.

— Это наша последняя встреча, — вдруг резко, с незнакомыми нотками в голосе сказала Тамара. — Все, Сережа, я выхожу замуж, а у тебя другая жизнь...

Может быть, от переизбытка полученного ночью счастья мои мозги не воспринимали слова Тамары серьезно.

— Ну и что, — сказал я. — Мы по-прежнему будем встречаться. — Я улыбался, ощущая необычайную легкость в теле, голове, душе.

— Нет, Сережа, все... Ты сейчас выйдешь первым и уходи, не жди меня. Я уйду после, чтобы нас не видели вместе. Все, Сережа...

Я, по-прежнему в каком-то легком дурмане, чувствуя только счастье в себе, даже не поцеловав Тамару, пошел к двери.

— Сережа! — крикнула она. — Ты меня больше не ищи. Мы уедем из города...

И больше из этого дня я ничего не помню.

Очнувшись, сказал матери, что хочу в Вильнюс, и уехал на целый месяц.

8

Влажный сладковатый липовый запах на центральной улице Вильнюса. Мокрая чешуя брусчатой дороги, которая шла от моста через Нерис до площади перед башней Гедминаса на высоком, обжатом разновеликими липами, калиной и орешником, холме. Бульжная дорожка, приобнявшая вполюобхват холм и степенно поднимавшая шедших по ней сквозь грачиный крик и соловьиный просвист к бульжным, серебристо-серым валунам средневекового замка, от которого сохранились остатки стен, кое-где низведенные до фундамента, в двухметровой толщине его округло щерились ходы и продухи.

И замок из красного, веками проморенного кирпича. На трех ярусах замка в круглых залах

— средневековые рыцарские доспехи, почему-то небольшие, словно кованные на пацанов-подростков, мечи, копья, топоры, алебарды, пищали, луки и стрелы, арбалеты и всякая другая старинная убойность матово поблескивала в дозированных порциях света, который благоволили пропускать тесные квадратные оконца.

Узкий винтовой выход на верхнюю площадку — и ветер, солнце, сухой кольчужный шум листвы внизу, и город окрест, на сколько хватает взгляда.

С площади начинался средневековый старейший город с глубокими прочерками гравюрных желто-серых улочек, с костелами и подворьями, с едва заметным движением крошечных людей.

Это было мое любимое место. Я ходил по старым камням, всегда чистым, с каким-то, как мне казалось, внутренним ненастырным блеском, который не гасили ни дождь, ни пасмурный день, и даже яркое солнце не разжигало лишнего света этих камней.

Улочка подводила к костелу. Я был во всех костелах города, но этот костел был любимым, может быть, потому, что в свой самый первый приезд сюда я случайно, уже уставший от пешего хождения, запаленный жарким днем, завернул в открытую ажурную дверь этого удивительной красоты миниатюрного изящества и в то же время величия костела святой Анны. Казалось, не руками мастеров-кирпичников создана эта церковка, а воздухом, который выдували умельцы в сплошной темно-красной глыбе, продувая резьбу башенок, оконеч, проемов, орнамента, каждой детальки этого чуда, а потом разукрасили костел цветными блескучими витражами — и вот вам земная святая в небесном облики.

В костеле просторная, уютная и прохладная тишина, особый ладанно-восковой приглушенный запах. Два ряда воронено-гладких скамей с высокими спинками, по стенам резные евангельские скульптуры, сцены из крестного пути Христа на Голгофу, Мадонны с младенцами.

В полумраке костела кажется, что они замерли только на время присутствия здесь человека и когда посетитель выйдет, то они снова начнут свою многовековую святую жизнь.

Вверху сквозь мозаику оконных и купольных витражей продавливалось разноцветное солнце — по стенам и скульптурам оплывали, словно струи прозрачного меда, золотисто-розовые полосы солнечных лучей.

Я сидел на край прохладной скамейки, слушал тишину, смотрел на скульптуры и витражи, было хорошо, спокойно, умиротворенно...

На холме Гедеминаса я, словно ящерица, вверх-вниз лазил по самой провальной крутизне, враскид обнимая шершавые теплые деревья, наслаждался диким одиночеством, приобщенностью к рыцарскому прошлому.

Воображение воспламенялось — отражал атаки в рядах защитников, мгновенно переходил в стан нападавших — скоблил травяную шерстку холма скользкими кедами — пытался, уклоняясь от стрел и камней, сыпавшихся сверху, одолеть подъем, в изнеможении переваливался через уступ верхней площадки и падал на прогретые валуны разрушенной крепости.

Я играл один, и мне было совершенно не одиноко.

Отдохнув, вытерев пот, снова спускался по крутому боку холма к затаенному ключику, пульсирующему на узенькой площадке. Ключ был огорожен небольшими булыжниками. Я ложился на край, сдвигал ладонью листья к стоку родника, полным ртом пил в меру холодную, отдающую прелыми листьями воду, потом опускал лицо в родник и, замерев, смотрел, как в песчаном дне вздуваются, приподнимая желтый песок, три бурунчика. Они напрягали песочные спинки, не в силах сдержать глубинный вытолк синевато-прозрачной воды, распались на песчинки, сглаживались по поверхности дна, через минуту вновь начинали возникать песчаные пузыри, из которых пульсировала вода.

Из родника вода стекала по ложбинке между камней вниз. У подножья холма ручеек нырял в керамическую трубу, которая тянулась к берегу Вилейки — шустрой, с булыжными перекатами речке, а она, в свою очередь, впадала в степенный, многоводный Нерис.

Достать и купить! Эту разницу я почувствовал в Вильнюсе.

После ивановских очередей за мясом, колбасой, рыбой, молоком, белым хлебом, туфлями,

трикотажем и много за чем еще удивительно было смотреть на покупателей в каком-нибудь самом скромном магазине Вильнюса. Здесь можно было взвесить двести граммов колбасы, да еще попросить порезать этот кусочек на тонкие, до розовой прозрачности, кружочки. Они вяло прилипали к широкому лоснящемуся ножу продавца, а он ловко скидывал их в плотную стопочку слева направо, нисколько не раздражаясь от просьбы покупателя, а даже наоборот, словно ждал этого пожелания. Иногда сам продавец спрашивал: «Вам порезать?», и застывал с ножом в руке на несколько секунд.

Я представил себе очередь в колбасном отделе ивановского магазина: слипшаяся у весов толпа. Электрический заряд раздражения зависал над головами покупателей.

— Кончается! — легкой щекоткой шелестело по толпе. — Колбаса кончается...

И сразу разряд в три-четыре голоса:

— Больше одной палки не давать!

Это значило, что отвешивать в одни руки только один батон самой ходовой вареной колбасы в толстой слюдяной облатке, тяжелой и мокрой на разрезе. Иногда кричали:

— Килограмм в руки!

Устный проект закона швырял в толпу кто-то один, и покупатели тут же единогласно утверждали его. Продавцы подчинялись и резали колбасу по временному закону ошалевшей от колбасного запаха и многочасового стояния толпы. И если бы я, отстояв два-три часа в очереди, по-вильнюски попросил двести граммов и порезать... Реакция в очереди и продавца была бы непредсказуема, но, зная жизнь и быт родимого города, скорее всего с той и другой стороны окатили бы крепким пробористым, словно самодельный хрен, матом.

В этом гостевом городе было изобилие всего того, что в моем родном надо было доставать с боем. И не только в магазинах, но и на рынках, где к покупателям обращались «пан» и «пани». Где бродивших среди прилавков людей цепляли зазывами торговцы и ласково понуждали купить именно их продукт:

— Пани, посмотрите сюда! Где вы купите такую сметану! В ней же не тонет железная ложка. Понюхайте! Так не пахнут даже розы...

— Пан! Только для вас этот кусочек! Нет, вы

обратите глаза! Это не мясо, а щастье. — Торговец в резиновом с кровавыми проюзами фартуке перешлепывал с ладони на ладонь яркорозовый кусок говяжьей вырезки. — Вы будете кушать и улыбаться! И ему совсем не цена... — Он кидал мясо на металлическую тарелку весов с гирьками на другой тарелке и глядел на приседающие клювики птицеобразных уровней. Подбавлял или убирал гирьки, и когда клювики над выпуклыми железными грудками начинали подрагивать на одном уровне, поднимал блестящие от азарта глаза, говорил:

— Килограмм с половиной... Так пану (или пани) завернуть?

Я, уже взрослая и бывая на большом вильнюсском рынке по нескольку раз в каждый свой, обычно летний, приезд, вывел одно правило поведения на рынке: не задерживаться у продавцов, не обращать внимания на их уговоры. Стоит только проявить интерес к товару и словам хозяина — все: неохотно, преодолевая собственное же сопротивление здравого смысла, который, слабея с каждым мгновением, шепчет тебе на последних вздохах: «Зачем тебе это, у тебя уже есть, не трать деньги, ты за другим пришел...» — вынимаешь кошелек и в радостной бездумной отрешенности отсылаешь деньги в пропащую ладонь пана торговца. Берешь сверток, кулек, сумку, отрываешься от прилавка и попадаешь в раскинутые голосистые сети другого продавца...

На этом рынке нужно, сотворив на лице озабоченность и держа метровую дистанцию от прилавков, целенаправленно идти в якобы необходимую тебе точку, где тебя уже ждут, именно за тем продуктом ты и пришел сюда...

Я любил ходить на этот базар, смотреть на живописные навалы овощей и фруктов, некоторые я увидел и попробовал впервые именно здесь: бананы, киви, манго, кокос, ананас.

И здесь же узнал, что зеленокожурные бананы есть нельзя, а именно такие прибывали к нам из-за морей.

Мой ивановский сосед как-то урвал в Москве две гирлянды этой зеленой экзотики. Дома он куснул банан, выплюнул и слюнявым матом обозвал эту горькую надкушенную загогулину. А его жена и дочь весь вечер, морщась и содрогаясь, приобщались к заграничному лакомству,

они когда-то краем уха слышали, что бананы едят европейцы и американцы и этот фрукт, как наша картошка, у них со стола не сходит. В банановом образовании они перешагнули отца — чайными ложками выскрябывали твердую горечь неспелых бананов, озвучив мнение, что он (отец) «ничего не понимает». Мать и дочь, уже молча, каждая сама для себя, пытались ответить на мучивший их вопрос: «Как и для чего едят вот эту невообразимую, отвратную несъедобщину далекие европейские люди?»

Компьютеров тогда не было. В телевизоре бликовала одна программа. Поэтому, как и для чего употреблять бананы, люди в наших городах и весях не знали. Мама и дочь решили, что этот фрукт скорей всего лечебный, и с этой верой продолжали скоблить ложечками жесткую, словно замороженная вата, внутренность бананов.

Ночью мать и дочь наперегонки бегали в туалет. Бледные и сосредоточенные, вершили свое дело, подгоняли друг друга у закрытой двери: «Мама, ну быстрее...» — «Дочка, ну что ты так долго, не могу больше...»

Утром сосед взял непечатую банановую кисть, бросил ее в компостную яму в огороде и для полного удовлетворения изрубил бананы лопатой.

У семьи соседа возникло долгое отвращение к бананам. Начали они их есть только после перестройки, когда бананы соспели до желтого цвета и их золотистые горбки выпячивались в любых больших и малых магазинах и киосках города.

Вильнюс, к которому я так природнился, был назначен в моем сознании заграницей. Я и мои родные в Европе не были, но по сведениям, доходившим оттуда, многие признаки Европы как раз и обнаружались в Вильнюсе: изобилие в продуктовых, промтоварных, обувных магазинах, чистота улиц и промытость витрин, несуетность, доброжелательность в повседневном людском обиходе и та особая атмосфера счастливой, сытой, незлой жизни, которая была разлита в живых пространствах города. Конечно, наверное, было всякое другое, дурное, но я его не видел. Я слышал литовскую речь везде, где были люди. Прислушиваясь, отметил гладкую окатность фраз, их пружинистую мягкость: «Лаба дена», «Кек валанду?»,

«Пенькнолики». И если я обращался к литовцам с просьбой подсказать, как пройти или проехать куда-то, то они сразу переходили на русский и терпеливо объясняли.

И так год за годом. Казалось, что это будет всегда.

Тамара вышла замуж за Веню-«самолет». Они уехали в город Каменец-Уральский. Там у Тамары родился сын. Веня стал пить и бить Тамару, припоминая ей мужиков и братьев.

Пил и бил Тамару Веня около двух лет. После истязаний он ложился на кухне на диван и храпел. Здесь и совершила Тамара свой высший суд над ним. Махнула топором по лбу, располовинила голову мужа, словно арбуз на базаре, когда торговец для демонстрации высокого качества товара одним махом раскалывал крупный арбуз — вываливалась багровая мякоть с черными, жирными зернами, похожими на больших помойных мух...

Сама позвонила в милицию. Приехавший опер смел с пола красно-серые шмотки Вениных мозгов веником в совок и в пакете положил рядом с трупом.

Тамару сначала определили в психиатрическую больницу. А потом был суд, и ей дали три года условно. Судья сделала вывод, что муж сам довел жену до такого действия.

Тамара вернулась в родной город, в материнский дом.

Я через много лет увидел Тамару. Это была изношенная, седая, незнакомая женщина с остывшими глазами, подволакивающая правую ногу, поврежденную костоломными пинками мужа, и только едва заметные щербинки на висках воскрешали в памяти то отболевшее чувство к той давней, красивой Тамаре.

А еще через несколько лет я узнал, что Тамара умерла от неизлечимой болезни и похоронена рядом с матерью и братьями на старом городском кладбище. На нем уже давно не хоронили, но тетя Гриппа по какому-то неведомому чувству застолбила рядом со своим последним пристанищем еще участок на четыре могилки...

Сортировка была местом непрекращающейся круглосуточной жизни. Мы, под ростки, с корзинами и ведрами выходили из летней ночи на освещенную прожекторами и фонарями сортировочную площадь, с фырками, свистом, пронзительными гудками паровозов, блеском спутанных рельсов, отходом и приходом поездов, огромным голосом невидимой женщины-диспетчера, который расталкивал все другие звуки, прижимал их к земле и приказывал: «Сто пятьдесят четвертый, проследовать на седьмой путь!» И тотчас фыркал белесым тугим паром какой-то паровозный котел и с медленного упористого толчка двенадцати колес в рельсы начинал движение, видимо, сто пятьдесят четвертый.

Мы выбирали товарный состав, который, по нашим ощущениям, должен был отходить от города в лесные дали. Забирались на узкие площадки сцепщиков, и состав, дернувшись, спешил в ночь, убыстряя ход, разрезал черный лес своим коричневым змеистым туловищем. Холод встречного воздуха вызывал дрожь в теле. Мы садились на пол площадки, прижимались друг к другу, перекидывались редкими дрожжащими фразами. И опять же, по ощущениям, где-нибудь через час езды, дождавшись замедления паровозного хода на подъеме, по очереди прыгали с площадки на темную насыпь. Поезд натужно, с перестуком посверкивающих колес проходил уже мимо нас, и через минуту всасывались в темень четыре красных фонаря последнего вагона.

Лес охватывал тишиной и какой-то жуткой затаенностью. Ощущение, словно ты на дне глубокого омота, сверху пятнышки звезд, и не знаешь, как вынырнуть и куда плыть.

Счастье, если попадали на место около какой-нибудь лесной деревни с санными сараями на окраине. Тогда забирались в сухое сено и, побалагурив, засыпали до рассвета...

В тот очередной лесной набег все не сошлось: едва заскочили на две тормозные площадки встречного направления — ветер в упор и со свистом навывает. Я, Сашка и Женька Виноградов — здоровенный, веснушчатый, солнечный парень! Ходил вразвалку, улыбался

рыжим лицом — уголки губ стискивали щеки в красные упругие ямочки, а над ними озорнувшие зеленые глаза. Первый раз поехал с нами — упросил. Мы его не брали в свою компанию из-за его матери. Где бы Женька ни был, мать всегда появлялась неожиданно, в любом нашем закутке. Она, обнаружив нас, минут пять молча стояла и слушала наш забубенный, часто похабный треп, а потом инородно возникала и каким-то негнушимся, словно раскаленная спица, проколистым голосом прожигала вмиг образовавшуюся тишину:

— Ж-женья-я, домой-й! А вы, маль-льчики... — и начинался процесс полоскания мозгов: это можно, это нельзя, так не говорят, так не делают...

Женька уходил, а его мать еще долго учила нас, как надо жить. После ее ухода мы дружно жалели Женьку. Был у Женьки единокровный брат Вадик, старше его на год. Рослый, пропорционально широкий, обладающий дикой силой в кругло-окатистых, словно трубы, руках, розовощекий и ясноглазый, как и Женька, но только с разумом двухлетнего ребенка.

Вадик-дурак — так совершенно беззлобно, даже сочувственно, называли его в нашем районе. Над Вадиком шутили, издевались, как это всегда бывает в жестокой, стайной детской жизни.

— Вадик, покажи писку — конфетку дадим... — Вадик спускал штаны, склонял голову набок и улыбался совершенно обыденной улыбкой, значащей лишь только то, что ему хорошо в этом штучном, недосыгаемом мире.

В отрочестве Вадик, по просьбе таких же отроков, выдергивал столбики деревянных лавочек, вкопанные в землю, отрывал ручки у калиток. В юности Вадик уже гнул трубы дорожных указателей, ронял на стройках стенки с незавершенной кирпичной кладкой, выпивал одним засосом трехлитровую банку березового сока, чтобы получить в награду такую же полную банку. (За березовым соком мы ходили компаниями и набирали его бидонами и ведрами.) Вырывал с корнем годовалые березки в парке, а однажды ночью по просьбе разгоряченной компании молодых олухов выкатил на проезжую часть бетонное кольцо со стройки и уронил его на ребро. Водители шести машин и подъехавшие два милиционера, матерясь, сволакивали

кольцо на обочину, а мы в кустах давились от смеха. Впрочем, Вадик так вжился в нашу районную стайку, что мы уже не обращали на него внимания. Издевки и шутки над ним от долгого повторения надоели, и мы даже стали защищать его от чужих насмешек. Тем более его мать почти ежедневно отслеживала наши компании и слезно просила не обижать Вадика...

Его мы в лес не взяли. Это и понятно. Хотя он просил, слушая наш разговор:

— Хочу лес, с батом, — сказал он, склонив голову набок и улыбаясь полным красногубым лицом.

— Только нам дураков не хватало... — в сторону вполголоса сказал Сашка, надеясь, что Вадик не услышит, но Вадик услышал.

— Я не дурак, я добрый... — сказал он, все так же улыбаясь, а дальше понес несусветное: — Я сильный, я пинесу бата из леса, я на луках пинесу... — Потом совсем уже непонятное: — Зеня, не ходи лес, там похо, не ходи... Я один — не хочу, я один, и мама одна, я сильный, я тебя пинесу...

Потом, вспоминая все это, меня пробивает холодок: Вадик предчувствовал, он знал. Видимо, ангел-хранитель Женьки, ослабевший от его неверия, дурных поступков и слов, из последних сил пытался спасти его, продлить его пребывание в земной жизни, предполагая, что, постигая жизнь, Женька замолит благими делами свои малолетние грехи. Но единственное, что было под силу ангелу, — вместить в блаженную голову брата предостережение, которое он и высказал корявым детским языком...

На подъеме, когда вагоны «пошли пешком», мы спрыгнули в мелкий гравий насыпи. Серые камушки шурхнули под ногами. Женьку — он прыгал последним — мотнуло в сторону, и он, словно подпиленное сучковатое бревно, покатился на дно кювета, в густую траву и тонкий ломкий кустарник. Его корзинка, подпрыгивая, катилась рядом. На излете корзинка опередила Женьку, первой достигла дна, а тяжелое тело парня спиной надавило на корзину, она многозвучно треснула и сплющилась.

— Конец, — безнадежным голосом сказал Сашка. — Что мамане-то скажешь?

Женька раздвигал корзину, она трещала и осыпалась мелкими ломкими сколами.

— Ладно, прутиками свяжешь, — сказал Сашка.

Мы пошли вдоль насыпи. В светлой ночи подрагивали и пересыпались звезды. Пестрым светом, то угасая, то вспыхивая, поблескивали рельсы.

В этой черно-серой ночи, отстраненные от живого мира мертвым лесом, мы вялыми мальками плыли по лунной обочине рельсовой просеки, надеясь приткнуться где-нибудь в стожок сена, наметанный на лесной поляне заботливым путевым обходчиком, или вползти в березовый скородельный шалашик, срубленный еще в прошлом году охотниками-тетеревятниками, и, сжавшись в три комочка, мгновенно уснуть до близкого рассвета.

Но ничего этого не было — сплошной лес и матовые струны железной дороги.

Шурик, привычный уже к таким передрыгам, ругался — крыл он железную дорогу, лес, мужиков, которые не могли накосить сена именно в этом месте. Прошелся он и по Женьке, который «заменялся» на площадке вагона, не прыгнул сразу, и поэтому занесло их в такую бесприютную даль. Женька молчал, ошарашенный необычностью происходящего. Ему было и страшновато, и любопытно, и хотелось есть, а пакет с едой он потерял при падении с вагона.

— Дай хлебца... — попросил у меня Женька. — В желудке сосет.

Я пошарил в своем пакете, достал два ванильных пряника и протянул Женьке. Он полнорото в два куса сжевал пряник и, тараша зеленые глаза, улыбался туговыпуклыми щеками.

Сладкий запах ванили щекотнул Сашкин нюх. Он сплюнул, покосился на Женьку и сказал обреченно:

— Морда глупая, а жрать, жрать...

Женька, хохотнув, протянул ему пряник.

— Нет, — сказал Сашка. — На место прибудем и поедем...

Но места для ночлега мы так и не нашли. На опушке просторного березняка, где, по мнению Сашки, «грибы стаями плодятся», мы решили прикорнуть на куче сухих березовых веток, не разжигая костер, так как до рассвета оставалось часа три.

Яичная сковородка прожаристого солнца в легких парах утренних облачков высунулась из-за восточной стены леса, заиграла бликами на рельсах и жирной смоле шпал. Рельсы первыми притянули июльский жар солнца, стали нагреваться и греть наддорожный воздух.

Сашка первым выскочил из чуткого отрывистого полусонья, толкнул меня, показал головой на Женьку, который, к нашему удивлению, спал крепко, скукожившись в букву Э, и только тугой воздух из его ноздрей шелестел в сухих листьях березняка, словно путалась мягкими лапками нагловатая лесная мышь.

— Спит, как в утробе матери, — сказал Сашка. — Буди, и пойдем греться на рельсы...

Поднесли к носу Женьки исходящую в дымок сухую ветку — он дернулся, распрямился и вскочил.

— Родился... — сказал Сашка. — Пошли на печку спать...

Дрожа от лесного озноба, каждый из нас выбрал себе место на рельсах — без смолы на шпалах. Легли цепочкой метрах в пятнадцати друг от друга. Мы с Сашкой делали так не первый раз.

Женька, вынув руку из стеганой фуфайки, подложил рукав под голову, скукожился между рельсов и тотчас уснул, обласканный утренним теплом дороги. Мы с Сашкой погружались в сон постепенно. Я чувствовал, как нагревается тело, спустил ноги в кювет, вытянулся и, слушая неясные еще, просыпающиеся звуки леса, стал уплывать в сон.

Вывал из сна чудовищный свист — тень паровоза с белым хохлом пара была метрах в десяти от меня, там спал Женька.

Сдернул голову с рельсины, и тотчас влажное горячее парное облако сошвырнуло меня с насыпи в кювет. Зацепил взглядом изломанное ужасом белое лицо Сашки. Он уже стоял в кювете и кричал, но крика не было, а был сплошной, пронзающий насквозь свист.

Из-под колес паровоза и вагонов вдруг сыпанули пучки искр, словно от крутящихся точильных кругов, но у паровоза и вагонов колеса не крутились, а, наоборот, стояли — поезд тормозил.

Сашка бежал ко мне, но смотрел мимо меня — туда, где спал Женька.

Я оглянулся — Женьки не было. Поезд по инерции двигался, стонали тормоза вагонов. Последний вагон со свистом проюзил мимо нас и остановился метрах в трехстах, на загибе дороги в лес.

Мы увидели серо-красный комок между рельсов, а вокруг него словно выплеснутая из ведра алая краска. Падая, хватая руками щебенку, мы взобрались на дорогу. Верхняя часть Женькиной головы краснела метрах в пяти от тела, а то, что осталось на туловище, походило на большую скрученную тряпку, которой вытирали краску на шпалах...

А дальше, с провалами, какая-то другая, бессознательная реальность: бегут люди от состава, дрезина, милиция, измятое тело Женьки на брезенте, часть черепа, прислоненная к его плечу, уже дневная сортировка, отдел милиции, вопросы, обморок, врач.

Черное лицо матери и воющий плач Вадика. Закрытый гроб и поминки. Черный сгусток жизни. А дальше — медленный выполз из этого липкого тоскливого комка, словно мухи из липучки. И все тянется за тобой чувство вины, и все перематываешь назад этот период жизни, и коришь себя, и объясняешь себе, как надо было организовать тот летний грибной поход, и в утешение и оправдание себя говоришь о том, что мог быть на месте Женьки, и даже вместе с ним и Сашкой лежать потом на открытой платформе дрезины, и проигрываешь в памяти все, вплоть до похорон, но утешение и успокоение не приходят...

Через год Вадик полез на высоковольтный столб за бумажным змеем, который зацепился за керамический изолятор, задел рукой провод, был убит током и упал со столба на асфальт.

10

Итурик «завелся». Эту новость я узнал вечером, придя с тренировки. Болела голова. В спарринге Вовка Бородулин, бывший размашисто, а потому часто скоркавший по напарнику шнуровкой перчатки, свез мне едва зажившую после зональных боев бровь. Кровь тягучей мокротой залила глаз. Тренер закричал на Бородулина, назвал размазней, отпра-

вил колотить мешки. Мою бровь промокнул ватой, сказал, что без швов заживет, заклеил пластырем и на месяц запретил спарринговать. Через два месяца — первенство города, и бровь может подвести.

— Господи, опять исковерканный, — в очередной раз сказала мать. — Когда же ты прекратишь себя калечить?

Вопрос был обыденный, частый, а потому риторический.

Она поставила на стол сковородку с жареной картошкой, обложенной сверху мясокомбинатскими котлетами. Они вlepились в картошку, и когда их накалывал на вилку и вылеивал из картофельного гнездышка, то из них по вилке тек светло-желтый горячий сок и картошка под котлетой коричнедела. Мясокомбинатскими их называли потому, что доставали их в магазине, пристроенном к стене мясокомбината, и были эти котлеты из натурального фарша.

Есть не хотелось, подташнивало, я лег на диван и сразу уснул, сквозь начальную задрему слышал ворчание матери «о мордобое, выбитых мозгах, плохих делах, если такая еда в горло не лезет».

Около десяти забарабанил в окно Валерка Фомин — Фома, и я узнал, что Шурика на танцах в городском саду обозвал козлом полупьяный Гоша — Губа из Авдотьиного, и Шурик «зарядил ему в пятак». А поскольку сад «Май» был вотчиной сосневских, то авдотьинских взяли в кружок и, по словам Фомы, «развязали мешок с кулаками». Авдотьинские отмахивались, и шустрому Генке Кормилицину ботинком с набитой на каблук металлической пластиной специально для разборок «сделали восемь швов». Понятно, что швы ему наложили на станции скорой помощи.

И закрутилось...

Авдотьинским «забили стрелку» на вытопанной лужайке самодельного футбольного поля у реки. На клич сосневского шишкаря Юрки Хасана (фамилия его была Хусаинов, и был он голубоглазый с тонким лицом паймальчика и каштановыми густыми волосами, но правой бил, как кувалдой) собралось человек пятьдесят в наглухо застегнутых тренировочных костюмах, свитерах под горло, несмот-

ря на вечернее лето, кедах, у некоторых они были размера на два больше: в носа этих красных литых кед закладывались свинчатки, от пинков отвисали мышцы ног и ломались ребра. Свинчатки, судя по отвису карманов, были и в куртках. Пиковин и ножей не было ни у кого. В многолюдных «заводках» они категорически не применялись. Если у кого-то вдруг по незнанию обнаруживалась пиковина, выточенная из квадратного напильника, или даже складник, то это изымалось, ломалось и владельца этих орудий «мочили» и свои и чужие. Пьяных обычно в таких «заводках» не было.

Авдотьинских пришло человек на двадцать меньше, и, судя по тому, как они подходили группами по пять-шесть человек, в футболках, светлых рубашках, глаженных брюках, и только человек пятнадцать в боевом снаряжении, настрой у них был не боевой. Может быть, и потому, что Гоша-Губа был «нарывчиком», пьяный дурел и лез без мозгов во всякие заварушки, за что и получал больше других.

Авторитет у него небольшой, но надо было держать марку района, поэтому и пришли авдотьинские парни не из-за Гоши-Губы.

Две толпы заняли противоположные площадки футбольного поля.

В центре на толковище вышли Юрка Хасан и я с Шуриком. От авдотьинских — Юфча, Юрка Федорчук, коренастый парень без обеих кистей рук. Ходил он без протезов. Ловко управлялся наростами из кожи, сформированными за многолетнее действо. Он сжимал ложки, вилки, карандаши, карты, деньги, застегивал пуговицы, умывался и причесывался. Кисти ему, шестилетнему мальцу, оторвало разрывным патроном, который они — стайка любопытных пацанов, отыскали за городом на воинском стрельбище. Отца он не помнил, мать куда-то уехала, и жил он у бабушки, которая еще работала на фабрике «Красная Талка». Багровые, красного кирпича, корпуса этой фабрики впаялись в зеленый берег на противоположной от нашего футбольного поля стороне реки.

На вислощекоем лице Юфчи всегда лучезарилась улыбка. Он сгонял ее только тогда, когда сплевывал бесчисленными нервическими плевками жиденькую, не успевшую загустеть слюну. Он сплевывал даже тогда, когда слюны

вообще не было. Он просто изображал плевков. Юфчу боялись и уважали. Он был хитер, умен и справедлив. В карты всегда брал банк. Гасил конфликты. Наказывал своих, если были неправы. Непонятливых тыкал культиашкой левой руки в челюсть, щеку или голову. В губы и нос не бил — боялся крови. Эту тайную слабость Юфчи знали немногие.

Рядом с Юфчей — Гоша-Губа и черный худой парень с золотой фиксой и наколотыми перстнями на пальцах левой руки. Кличка при таком обликии стандартная — Цыган. Это был один из авторитетов авдотыинских. Сидел по хулиганке. Говорили, что на разборки ходил со стреляющей ручкой (выточенный на токарном станке металлический стержень на резьбе, в который вставлялся мелкокалиберный патрон). В конец ручки, там, где колпачок, прилаживалась пружинка. Колпачок оттягивался. Щелчок — и выстрел. Точность попадания приблизительная. Только если с двух-трех метров. Стреляющая ручка была скорее орудием спокойствия владельца и устрашением для соперника. Иногда из нее стреляли, да и то с испуга и в воздух. Была ли ручка у Цыгана сейчас — никто не знал. Я прикинул: вес у Губы и Цыгана примерно одинаков, у каждого по 60 с небольшим — мой вес, и «сделать» их я мог как поодиночке, так и если вместе кинутся. Но я понимал — такого не произойдет. Если только не договорятся, но и то сначала разойдутся каждый к своим, а потом — стенка на стенку...

Хасан поручался с Юфчей, пожал мозолистую культю. Мы стояли поодаль. Гоша-Губа перед встречей высосал из горла полбутылки портвейна, был в кураже, корчил рожи, закатывал к вечернему небу глаза, большим пальцем чиркал себе по кадыкастой шее — показывал Шурику, что ему кранты.

Шурик в ответ оттянул себе нижнюю губу. Гоша было рванулся к нему, но Цыган схватил Гошу за рукав, осадил матом...

— И сейчас прыгает, — сказал Хасан Юфче. — Как порешим? Будем щелкаться? Или?

— А чего щелкаться, — сплюнув, ответил Юфча. — Против твоей колды не по уму будет. Вон пусть Губа скажет, у него терки... Иди сюда, баловник, — позвал Гошу.

Гоша, как-то сразу поникший, вышел к Юфче, пробурчал:

— А я-то чего... Мне зарядили... Вон этот кудряш, — показал на Шурика.

— За базар получил, — перебил его Шурик. — В бухле ничего не помнишь? Хамил не по делу...

— Ну, чего предъявишь, Губа?

Юфча уже принял решение и спросил так, для завершения сходки.

— А че он благовал. Их сколько было... — вдруг воодушевился Гоша.

— Давай один на один... — сказал, широко улыбаясь, Юфча.

— Твое слово, Шуряк, — повернулся Хасан к Сашке.

Шурик не ответил, молча застегнул под горло молнию трикотажной куртки и шагнул вперед. Он был крепкий парень. Год занимался в секции вольной борьбы, а когда поступил учиться в художественное училище, секцию бросил, но шестнадцатикилограммовой гирей играл по три раза в неделю.

— Не-е, а чой-то, — вдруг побледнел Гоша. — Я на такой расход не подписывался. У меня с прошлого раза — ни кашлянуть, ни пукнуть...

— Че, слабо, очко жим-жим... — Юрча повернулся к Губе. — Ты, харя гумозная, все время в непонятки попадаешь, а нам за тебя отмазки делать...

Юрча говорил без нервов, сквозь улыбку. Я даже не понимал, как это у него получается: говорить злое и улыбаться. Спустя годы, вспоминая это, я пытался у зеркала улыбаться и говорить злые слова, и у меня не получалось.

— Ну че, с вас два ящика и расход... — решено сказал Хасан.

— Базара нет, — ответил Юфча. — Завтра здесь же...

И две толпы плавно рассосались с площадки. Их втянули узкие улочки пригорода, с переулками и тупиками, с короткими вьюжками тополиного пуха, с деревянными неровными палисадниками, туго опоясавшими спрессованную густоту сиреневых и жасминовых кустов, сквозь зарост которых по ночам просачивался из перекрестных деревянных рам желтый уютный свет, в котором плавали увеличенные гроздья сирени и прозрачные пучки жасмина.

Звуки пригорода утишились к полуночи. Глушились магнитофоны, визгнув последней нотой, замолкали пластинки. Кое-где пробивал еще влажную тишину усталый разгул семейного праздника или просто разливанной вечеринки, собранной по какому-то им ведомому поводу. Нестройно, вразброд тявкали собаки. Гудела паровозными гудками трудолюбивая сортировка. С полуночи гудки прекращались, но слышен был металлический лязг сцепляемых вагонов.

К середине ночи темная извилина реки начинала масляно сверкать. От дальних фабрик кишками сточных труб, связанных с рекой, медленно тек мазут. Его вспененные разновеликие лепехи пятнали гладкую спину реки, цеплялись за редкую осоку, липли к берегам.

Утром в мелководных заливчиках, где купались дети, спекалось сплошное черно-зеленое ворсистое мазутное покрывало с нашатырным запахом.

И первые утренние купальщики ногами распинавали мазутный настой, направляя его ошметки в проточную часть реки.

После такой очистки купались в теплой коричневатой воде.

Иногда мазутный наплыв случался и днем, но это не мешало купанью: плавали, расшвыривая мазутные клочки руками, плотно сжимали рот.

Но бывали дни, когда вода в реке была чиста до прозрачности, словно и у нее случались праздники, и тогда, как ни странно, у черного дна сновали серые стайки непростой породы рыбок и на берегах появлялись пацаны с удочками и литровыми банками с водой. Мальчишки выдергивали скольцевавших от рыбьего ужаса беспородок, сняв их с крючка, пускали в банки, а потом, подняв банку, разглядывали темно-серых, большеголовых, с вытарашенными глазами уродцев.

Речка, лес, футбольные поляны — мир пригорода. Многолюдные улицы, переулки, тупички. В редком доме одна семья. Приделки, пристройки. И уж если свадьбы, похороны, проводы в армию, то такое несусветное столпотворение с песнями, плясками, слезами и причитаниями, с напутственными криками и ритуальными свадебными драками, словно бы

не было у людей ничего более важного на этот момент, кроме самозабвенного участия в чужом горе или торжестве.

11

На проводы Шурика, кроме гостей, в доме собралась толпа у окон. Провожали шумно. На дворе соорудили столы, дядя Володя нагнал самогона. Пили и напутствовали Сашку, и чем больше пили, тем больше советовали, как надо служить. Сашка почти не пил. Опрокинул стаканчик и шепнул мне: «Что-то не идет...» Сидел притихший, словно незнакомых, оглядывал гостей, улыбался, пребывая в своем затаенном мире.

Девчонки с улицы, с которыми он учился, дружил, ходил на танцы, не простили ему негритянку: на проводы пришли только трое, смотрели на Сашку подлобно и строго, а когда выпили, начали почему-то плакать...

Дядя Володя дошел до кондиции и начал истово развлекать гостей. Он доставал пальцами левой руки до локтевого сгиба, делал буквы Г крайней фалангой указательных пальцев и требовал, чтобы сделали так кто сможет. Гости пытались, но ни у кого не получалось. Двигал ушами и кожей головы. Условная фокусы, дядя Володя поставил стопку с водкой на землю, встал на голову у стены дома и, стоя на одной руке, влил другой рукой в рот содержимое из стопки, а встав на ноги, проглотил водку.

Но когда дядя Володя, повинувшись законам вдохновения, созданного одобрительными возгласами молодежи, с хрустом откусил край тонкостекольного стакана и стал жевать кусок стекла, в ошалевшей тишине вдруг раздался совсем не одобрительный голос тети Моти:

— Допился-та до стаканов! Хватит-та, иди выплевывай и больше чтоб ни капли-та!

Дядя Володя вытянул ладонь — тише! Сосредоточенно дожевал стекло, замер, двинул кадьюком — проглотил стеклянный нагов, встал и молча покинул застолье.

Мы с Шуриком знали этот фокус: дядя Володя не глотал стекло, он выплевывал содержимое. Но жевал стекло натурально, как,

впрочем, и лезвия бритв. Цирковая молодость и зона многому его научили.

А в толпе у дома женщины обсуждали негритянку. Они ее не видели. Видели совсем другие, когда шли с ночной фабричной смены и Шурик с негритянкой под ручку торопились на трамвайную остановку; те, кто видел, не поверили своим глазам и рассказали другим неповерившим, и пошла гулять то ли бьель, то ли небьель по фантазиям пригородных женщин. Каждый толкователь и передатчик добавлял что-то свое, и потому склублилась эта невероятная история в неоспоримый житейский факт, который, даже если и не был на самом деле, то, пройдя все степени жизненных истолкований, стал жить отдельной самостоятельной жизнью.

— Ведь красавенный парень, а сказался на что? — скорбным голосом просудачила одна.

— По-молодому-то дырку и в заборе найдешь... — игриво созорничала другая.

— Дак, когда женится-то потом на нашей, черненькие дети пойдут... — не унималась в скорби первая.

Стоявшие рядом женщины разом замолчали, переваривая сказанное.

— Вот Матрена-то горя хватит, — не унималась скорбящая.

— По-твоему, что, от негритянки Сашка родит? — съязвила озорная.

— А как у собак-то, — ровным голосом продолжала скорбная. — Породистый кобелек с дворнягой свяжется, а потом любую породистую подводи ему — кутята уж беспородные будут. А жога, и тут так же...

Бабы посмеялись, подумали и решили, что человеческая порода отличается от собачьей и никаких извращений не случится, если только Сашка не женится на негритянке. На том и порешили.

Из дома уже хлынула песня под гармошку. Одна сменила другую. Молодежь на дворе начала заводить свои магнитофонные песни. Проводы заглохли, как обычно, далеко за полночь.

А утром толпы провожающих на вокзале. Внутри этих толп, облепленные друзьями и подругами, стриженные наголо призывники. Провожающих и будущих солдат так много, что перрон узок и короток. Поезд уже стоит. Офицеры кричат номера команд.

Обнимаемся с Сашкой. Говорить нечего, да и незачем. Тоска торкается в груди на секунду, но эта секунда памятна всю жизнь. Офицеры и солдаты оттесняют провожающих от неровного, стриженного, рюкзачного строя новобранцев. Зеленые вагоны серыми узкими ртами дверей начинают размеренно проглатывать пацанов — посадка.

Из соседнего строя крик:

— Эй, кудряш! — Сашке кричит бритый, с синяком под глазом Гоша-Губа. — Послужим Отечеству!

— Гоша, не поминай лихом! — кричит Сашка. — После армии с меня пузырь!

— А с меня — ящик! — кричит Гоша и вдруг прорывается через строй солдат, бежит к Сашке и с маху обнимает его. Спешат два офицера с повязками, оттаскивают Гошу. Он плачет, матерится. Бормочет: «Это же мой кореш, кореш...»

Сашка проталкивается в вагон, с полуповорота от тесноты машет обеими руками, и через секунду на его месте уже другой парень пытается повернуться и оставить последний взгляд затерянным в сплошной толпе только ему близким и родным людям.

Двери вагонов защелкиваются. Поезд трогается и навсегда уходит.

12

В Мукачеве полк, где служил Сашка, ночью погрузили на Антеи. Двое суток до этого они находились в полной боевой, а на третью ночь: «Подъем, строиться, бегом!» И брюхатый Антей, словно кит, заглотил четыре бронетранспортера с командами и сотню второгодков — невыспавшихся и злых, но в предчувствии, что на этом наконец-то учения закончатся: сейчас где-то в поле выбросят, постреляют они холостыми и начнутся недели более-менее спокойной армейской жизни.

А «выбросили» их в пригороде Праги. Выдали по два «рожка» боевых патронов и маршем — в столицу Чехословакии, защищать завоевания социализма от капиталистических поползновений...

Первые русские слова, которые увидел Сашка на чужой земле в окно бронетранспор-

тера: «Акупанты, убирайтесь вон!» Эти слова выползли из утреннего тумана в своей будничной естественности, словно бы они не первый год багровели на серой стене этого неизвестного казенного ограждения. Сашка хоть и не был грамотеем, но узрел две ошибки в слове «Оккупанты» и сразу успокоился: ему показалось, что впереди, куда они направлялись, все несерьезно. Нельзя же принимать всерьез понятия, обозначенные словами с грубыми ошибками. Значит, писали малолетки, хулиганье, таких Сашка повидал в своей бурной юности, да и сам был не тихоня.

Их бронетранспортеры ехали за головным танком в центр Праги. Там были основные силы бузотеров — так нейтрально назвал составших чехов замполит. Бузотеры обычно народец трусливый, покричат, побьют стекла и морды друг другу, а при виде силы разбегутся. Такую силу и представлял Сашка и его товарищи, и они осознали это и из сонных и равнодушных превращались в возбужденных и целенаправленных. Когда приказ и цель этого приказа полностью осознаются и утверждают в душах исполнителей, тогда победа будет обеспечена.

А что танки устроят бунтующих, Сашка и его товарищи не сомневались. Но какой-то маленький, черненький, кусачий червячок погрызвал это белое, восторженное благодушие, охватившее Сашку, и чем ближе подъезжали они к центру Праги, тем злее и кусачее становился этот червяк. Сашка разглядывал любовно ухоженные дома и тротуары, подстриженные и огороженные низкими коваными оградками деревья, витрины магазинов с выставленными в них незнакомыми товарами, спокойных, хорошо одетых людей, стоящих на обочинах и бесстрашно разглядывающих проходящую мимо них технику. «А где же эти шустряки, о которых говорил замполит? — думал Сашка. — Кого надо защищать?» Совсем близко к центральной площади он увидел разбитые витрины на первых этажах домов. Их закрыли деревянными щитами, и на одном из щитов уже знакомая, с теми же ошибками, надпись, но уже черной краской: «Акупанты, убирайтесь вон!» и красная звезда, обозначала, кто оккупанты.

Головной танк остановился, и командиру бронетранспортера передали по радию, что впереди — баррикада. Стояли с полчаса, а потом танк завернул башню с орудием назад, газанул, стал запрокидываться и короткими рывочками подниматься вверх. Он въехал на завал из телеграфных столбов, ящиков, старой мебели, железных бочек, набитых булыжниками. На другой стороне завала лежал свернутый набок красный трамвай с выбитыми стеклами. Танк перевалился, спустился с баррикады, ломая и коробя гусеницами хлипкий хлам, уткнулся бронированным рылом в трамвай и легко, невесомо сволок его в сторону, открывая дорогу бронетранспортерам.

Вдруг откуда-то сбоку, из узких прямых улочек, выходящих на площадь, словно пена из баллонов, напористо растеклись толпы людей. Они слились в большую колонну, которая быстро запрудила пространство перед баррикадой и въезжавшими в пробитую танком брешь бронетранспортерами.

Толпа кричала, свистела, махала кулаками, чехословацкими флагами. «Советы! Убирайтесь вон! Оккупанты! Свобода!»

Бронетранспортеры полукружем охватили танк, а он стоял грузно и неповоротливо и, как медведь на завтрак, поворачивался вправо-влево, свистя гусеницами по брусчатке, угрожая наскაკивающим на него разъяренным и непугливым людям из толпы. А они уже стучали по танку палками и железными прутьями. Потом по какой-то им ведомой команде с палками и прутками отскочили и выставились другие, с бутылками и тугими бумажными пакетами. В минуту танк покрылся коричневыми ошметками с вкраплениями битого стекла и медленно стекающими по коричневым отекам бумажными комками.

— Напалм! Сейчас полыхнет! — испуганно сказал побледневший командир бронетранспортера старшина Витя Каблуков, тракторист из Шуи.

Бутылки и пакеты полетели и в бронетранспортеры: звяки и шлепы доносились снаружи.

— Сгорим на хрен! — снова запсиховал Витя.

— Десятый! Отставить, — донесся в наушниках голос командира роты. — Дерьмо от взрывчатки не отличишь, старшина...

Каблуков не отключил рацию, и командир роты капитан Вахроменко слышал его слова.

— Они же дерьмом нас кроют, козлы, — сказал механик-водитель Лошилов. — Его ж потом отмывать надо...

В минутной тишине раздался протяжный тихий вой и вдруг грохнул осыпистый хохот двенадцати здоровых глоток.

— Под говно попали-и... — стонал в смехе Каблуков. — Освободители-и...

Тяжелая вонь пошла в кабину. Сашка вынул носовой платок, смоченный в одеколоне «Шипр», прижал к носу. У кого были платки, сделали то же самое.

— С десятого по семнадцатый, слушай мою команду, — раздался голос командира роты. — Помалу вперед, вытесняем толпу с площади, не давить и оружие не применять...

— Они теперь на броню не полезут, — сказал Сашка, и все снова засмеялись.

Так, упорно, метр за метром, вытесняли взбудораженную толпу с площади на прилегающие улочки. Во второй половине дня включились в действие чехословацкие правоохранители. Они приехали на грузовиках. С грохотом откинули задние борта машин, и, словно кассеты, посыпались солдаты в касках, покрытых зеленой тканью (хаки) и в незнакомых мундирах: многокарманные куртки с застежкой на поясе, брюки, заправленные в высокие шнурованные ботинки на толстой подошве. В руках солдат были черные дубинки. По команде офицеров солдаты вытянулись в шеренгу и трусцой, гулко топая по камням, побежали на редущую уже толпу сограждан. Своих бунтовщики испугались больше, чем советских. Многие сразу скрылись в приплощадных улицах и проулках. Другие дождались приближения своих военных, предполагая остановить их, уговорить, объяснить, почему и зачем они вышли на площади, и гражданские чехи уже двинулись к солдатам, крича что-то им на своем бугорчато-шекающем языке, судя по жестам, в этих словах не было угроз, а было приглашение к разговору, просьба остановиться...

Военные, не останавливаясь, не раздумывая и не прислушиваясь, стали бить ближних дубинками. Били с выдыхами, с потягом, словно саблями. Вмялась шляпа на голове пожилого

чеха. Он упал, шляпа покатила. К нему нагнулся рядом стоящий. Он вытянул ладонь к солдатам, мол, подождите, я подниму его, помогу... Два удара дубинками по затылку и спине сочувствующего, и он упал рядом. Шеренга солдат переломилась в нескольких местах — ровному строю мешали упавшие от ударов. Солдаты пинали лежавших, перешагивали через них и, входя в раж, били в самые болезненные и убойные места. Упавшие стонали и корчились. Остальные побежали сразу, одним, слипшимся от ужаса, человеческим сгустком, не разбирая дороги, лишь бы укрыться в укромном месте, спастись от разрезающей тело боли от полученных ударов.

А солдаты догоняли их и били, словно заведенные машины.

Потом по команде офицеров военные прекратили избиение и погоню, схватили покалеченных и не могущих идти людей, затолкали их в грузовики и уехали.

— Вот вам и Европа, — сказал Сашка, очнувшись, словно от просмотра фильма. — Мы-то зачем здесь? Они и без нас вон как лихо управляются...

— А ты не бери в голову, Санек, — сказал старшина. — Мы приказ выполняем. Сейчас наша главная задача — говно после этих горлопанов смыть...

Опять посмеялись уж было над забытым и по команде тронулись с площади в назначенное место — на временную базу.

Эта улица, на которую свернули БТРы... Я помнил ее название. Его при каждой встрече повторял пьяненький дядя Володя. Старомятская. У дяди Володи, конечно, в названии было мясо. Он, перебрав, кричал, что поедет в это тухлое мясо и выправит его керосином. Тетя Мотя плакала и не обрывала, как обычно, мужа...

... Они въехали в узкий коридор высоких серых домов. По обеим сторонам улицы и на балконах стояли люди с цветами. Они кричали и бросали цветы на броню. Сашка откинул люк, высунулся на полтуловища. К ошметкам дерьма прилипли лепестки тюльпанов, оторванные головки роз, каких-то других цветов, похожих на незрелые подсолнухи.

Клубился тошнотворный тухло-дерьмово-цветочный запах.

Сашка сволок кожаный шлем, мокрые белокурые, по-армейски короткие волосы опухнул прохладный, отравленный заграничными гостинцами воздух. Вдруг он увидел на медленно подплывающем балконе пятого этажа двух девушек, придерживающих на перилах огромный букет из чайных роз. Одна из пражанок прижимала к груди ладошки и театрально вытягивала руки именно к Сашке. «Мне?» — показал он рукой. Девушки часто закивали красивыми распущенными волосами: «Да, да, тебе, руссо Иван, только и единственно тебе, наш дорогой славный защитник. Мы готовы тебе отдать все, даже нашу девичью честь (коли она еще сохранилась), как отдавали в прошлую войну всю благодарную женскую горячность наши мамы и бабушки. Тебе, Иван, тебе...»

— Тормозни под балконом! — крикнул Сашка механику-водителю. — Этот букет перебьет все запахи.

— Ты бы лучше чувих поймал... — крикнул механик, но ход сбавил.

Букет оторвался от перил балкона. Сашка раздвинул руки, готовясь поймать его. Он не сообразил, почему букет летит к нему так быстро и перевязанным пучком стеблей вниз.

В последнем земном мгновении он помнил царапающую колкость срезанных стеблей на щеках и лбу, взрыв в правом глазу, боль, ослепление и переход в другой мир, где он плавал в красной воде, летал в красных облаках, бегал по красному лесу и красный Женька Виноградов все дразнился красным языком...

В букет роз был ввязан ротор от электродвигателя. Вал ротора проткнул голубой глаз Сашки, вошел в мозг и выключил Сашкину жизнь.

А потом все уже было бесполезно. Бесполезен утробный выкрик старшины... схватившего автомат и выскочившего через второй люк наружу. На том балконе уже никого не было, бликовали закрытые двери и окна. Старшина, побледневший до синих губ, чиркнул короткой очередью по балконным дверям и окнам той квартиры — взметнулись серебристыми звездочками стекла, осыпались осколочным звоном на брусчатку. Шарахнулись с соседних балконов люди. Старшина хотел было бежать

во двор и выйти на ту квартиру, но крик механика-водителя: — В госпиталь надо! — вернул старшину в машину, и БТР, рыгнув черным дымом, набирая скорость, помчался на базу.

Все было бесполезно: и смена намочших кровью пакетов, и крики:

— Санек, держись, счас приедем!

У своих два санитара и бойцы вынули из машины выпадающее из рук, тяжелое тело Сашки, положили на носилки, подъехавший врач в майорских погонах, встав на колени, сдернул с лица Сашки красный сочащийся пакет, а затем медленно уже поднялся, сбил с колена песок и сказал буднично:

— Бесполезно...

Тело Сашки переправили во Львов, а оттуда «груз-200» в запаянном гробу прибыл в дом, где Сашка родился, к отцу с матерью.

Наград Сашке не было, только благодарственное письмо от отцов-командиров да дежурное: «Погиб, выполняя свой долг...»

Кому был должен Сашка? И что это за долг такой на чужой земле, цена которому жизнь?

На военном грузовике привезли гроб. В этом запаянном пенале лежал Шурик, тот голубоглазый желтоволосый Шурик, некогда живое всех живых. «И хорошо, что я не вижу то, что там лежит... — вдруг в какой-то распахнутой откровенности подумал я и не устыдился этой мысли, а, наоборот, тут же оправдал ее: — Там — не он, и я не принимаю его, мертвого. Там уже не он... Он во мне и вокруг этого двора, дома, улицы, пригорода, в небе, в воздухе. Он на наших лесных тропинках и грибных местах, он в речке и в своих рисунках. Он в той таинственной и не достигаемой живыми оболочке, окружающей нас, учуствованной нами лишь тогда, когда умирает любимый человек, и растворяется его душа в этой оболочке, и мы, живые, ощущаем это».

Дядя Володя с молотком и зубилом рвался к гробу, требовал вскрыть его, но его держали, оттаскивали, а он плакал и кричал, что там не его сын, а чужой человек, потому что не может такого быть, чтобы Сашка был мертвым...

Несколько раз в жизни я чувствовал эту заповедность, несколько раз приоткрывалось мне нечто необъяснимое, словно щелочка в неведомо-

мый мир, совершенно не похожий на наш. В эти минуты я ощущал странную радость, я вдруг понимал, что я не один: рядом, вокруг меня и во мне тот дорогой человек, которого я сейчас хорошо, и он дает мне понять, что он уже вечен, ему хорошо, не надо скорбеть и плакать по нему. Это было какое-то противоестественное состояние. Оно не вязалось с общим гнетущим состоянием горя. И когда я, уйдя в память, скукожился с Шуриком на тормозной площадке товарного вагона, а на знакомом завороте рельсов, когда состав стал притормаживать, крикнул ему: «Прыгай!»

На меня глянули удивленные лица провожающих, и я понял, что крикнул громко, не в памяти, а наяву.

13

Меня не взяли в армию. Я слезно просил майора на последней призывной комиссии. Майор, наклонив светло-русую голову с круглой, словно чайное блюдце, бледной лысиной, напряженно писал в папке с моими призывными документами.

— Все, парень, — оторвался наконец от писанины и, совершенно не слушая меня, сказал майор. — Учись, работай, тренируйся. Жаль, конечно, что такой экземпляр не у нас, но закон есть закон...

Он схлопнул папку и отложил ее в низенькую стопу других папок, наверное, с такими, как я, «экземплярами»...

По закону, я один у престарелой матери и поэтому должен быть при ней. Но мать не болела, еще работала и по моей просьбе пошла в военкомат просить, чтобы меня взяли в армию.

Не взяли. Сказали матери: «Ты сейчас здоровая, а через неделю... Вот если он женится, тогда возьмем. Будет за тобой сноха приглядывать...»

На что мать по-простецки ответила, наверное, тому же майору: «Вона какой умный. Я и без вашей снохи проживу».

Почти все парни-одногодки ушли служить. Пригород опустел. Подрастали помоложе, но они были другие, у них была своя компания и свой мир.

После смерти Сашки я еще раз пришел в военкомат.

— У меня друга убили! — с ходу вклеил я все тому же плешивому молодому майору. — Я хочу служить!

— Кого убили? Где убили? — недовольно спрашивал майор, верно уже забыв меня с прошлой встречи.

Я рассказал.

— Документы уже оформлены, у тебя отсрочка... Но пойдем к военкому, как он решит, так и будет.

Военком в полковничьих погонах в жестком кресле под портретом Брежнева выслушал майора и меня. Военком был худощавый, морщинистый, желто-седые волосы были прилизаны назад, на лбу — лесенка морщин, и, когда он нас слушал, лесенка эта двигалась, изгибалась, остроугольно топорщилась и даже растягивалась почти до полного пропадания. Он закурил «Беломор», щурился от дыма, сдувал его в сторону.

— Значит, идешь в армию, чтоб мстить за друга? — вдруг спросил меня.

Я так прямо не думал, военком попал в точку.

— А кому мстить? — спрашивал военком. — Как ты выбирать будешь, кого надо положить? Всех чехов очередями... Это мы с немцами воевали — за друзей, знали, кого в землю вгоняли, а тут? Одни цветы кидают, другие гранаты. Да и завершается эта акция. Все там наладится скоро. Ты лучше чехов на ринге колоти... А друг... Так он погиб, выполняя свой воинский долг... Честь ему и хвала.

Военком встал и пожал мне руку.

— У меня столько друзей в войну погибло, что я бы должен до сих пор эту нацию искоренять, но мы люди, а потому живи и за него...

И я стал жить дальше. Каждый миг вспоминая его, живого и веселого.

14

Предпоследний раз я был в Вильнюсе, когда «национальное самосознание» литовцев кипело и клокотало. Неограниченная никакими барьерами, эта кислотная масса разъедала и растворяла все разумное и сопереживательное в людях. Выхлестывала из подворотен на некогда тихие улочки толпы опоенных свободой людей, рушила уже, казалось бы, за-

цементировавшийся уклад, ломала условия и условности.

«Независимость» и «оккупанты» — эти два слова определяли жизнь литовской столицы.

Независимость бросалась в глаза на каждой улице: все вывески на магазинах и учреждениях были на литовском языке, а не на двойном, как раньше: «Дуона — Хлеб», и хлеба в магазине иногда не было, две продавщицы в синих униформах совсем по-русски лежали на прилавке и ждали привоза. Я даже обрадовался этой родной ивановской картине.

Я шел с вокзала по знакомым улицам и улочкам и в этой природной за многие годы тишине чувствовал какую-то едва слышно гудящую наэлектризованность, словно к тяжелым домам присоединили высоковольтные провода и дозированно пускали ток. Но, может быть, я ошибался, может быть, ток был во мне, а эти серые грузные дома, наоборот, затаились, и тайная дрожь ожидания чего-то неведомого передавалась мне. Было странное чувство ожидания неожиданного.

В киоске на проспекте уже Гедеминаса, а не Ленина, знакомая длиннолицая бледная киоскерша как будто узнала меня и даже улыбнулась, когда я по-литовски поздоровался с ней: «Лабадена!» Но когда я по-русски спросил газеты «Советская Литва» и «Тиеса» по давней привычке покупать именно эти газеты, лицо женщины окаменело, легкая изломинка паутинкой дрогнула по ее губам и щекам. Она выдернула из стопки газет «Тиесу» на литовском языке и на грани приличия почти швырнула ее мне.

На первой полосе карикатура в духе Кукрыниксов: краснозвездный солдат душит литовца-хуторянина и вопрошает: «Теперь ты чувствуешь, что такое свобода?!»

Тетя, надев очки, читала газету и пересказывала мне содержание. Возмущенно комментировала особенно лживые, по ее мнению, строки:

— Свобода! До сорокового года здесь полреспублики батраков было. Нищета полная. Вытащили, обучили, понастроили, а теперь — мы оккупанты! Как жили они и как жили вы? — вопрошала она. Тетя уже не причисляла себя ни к ним, ни к нам, она, как третьейский судья, приподнималась над ними и нами и выносила приговор: они — жили, а мы — выживали. Хотя она пятьде-

сят лет была частью этих хорошо живущих людей, но они обидели ее так, что она отделила себя от них и стала упрекать за сытую, бездумную жизнь. Не примкнула она и к нам, выживающим, потому что была вынута из нашей российской жизни на долгие годы, а, приезжая в отпуск, чувствовала себя здесь неуютно, непривычно, и через неделю-другую ее тянуло в Литву.

Заканчивались такие рассуждения короткими беспомощными слезами. Снимала очки, вымакивая платком глаза: «Кявля... Это не мы, а они кявли...» — говорила почти шепотом.

Натан Григорьевич, наживший еще одну язву и уже начавший лысеть (седые волосы, словно сухая осока, дыбились над беленькой кругленькой лужицей плешины на макушке), еще больше обвисший и ссутулившийся, выражал свое отношение к происходящему предельно ясно и коротко:

— Бандиты! Сверху донизу одни бандиты! — и уж больше ничего не говорил на эту тему.

Тетя Тося все так же курила папиросы и готовила свои вечные супы с дымком. Только теперь она, прежде чем приступить к готовке, ругалась — в магазинах пусто, и теперь слово «купить» заменялось словом «достать».

У нее появился тяжелый мужской кашель, и она, особенно по утрам, грохотала с раскатами по всей квартире. Я с замиранием ждал, с какого же захода отхаркнет она коричневый табачный сгусток.

Бабушка перестала стареть, старость словно остановилась на месте. Я ее видел такой и пять, и десять лет назад. Только стала она блее и прозрачней, какое-то незримое остекленение произошло вокруг ее головы, как будто круглый матовый шарик-одуванчик приопустился на голову старушки да так и замер. Обман зрения происходил из-за тонких, паутинно-легких волос бабушки, которые выскальзывали из прически и беленькими былинками пушились над головой. Она так же споро и сутуловато ходила в костел на мессы. Конфеты внучке уже не приносила, потому что внучка стала взрослой женщиной. У нее был муж поляк, двое взрослых детей, и жили они в Тракае.

Пани Зося совершенно округлилась. Ходила она медленно, тяжело дышала, у нее болело сердце. От прежней Зоси в ней осталась этакая

блескучая задоринка. Она еще могла на что-то смешное вдруг зайтись дробным заливистым хохотом, но только на секунду, потом веселые шторы захлопывались на ее глазах и — грусть, быстрые слезы, тяжелое дыхание.

Иван, ее муж, умер, и эта трагедия едва не убила Зося. Тем более что виновной в ней была она. Иван, тогда уже отставник, работал инструктором по гражданской обороне в республиканской больнице. Приходил с работы и так же устало снимал теперь уже туфли и костюм, блаженно отваливался на спинку дивана. А поскольку болезнь Зоси была неизлечима, она так же придирчиво исследовала костюм и содержимое карманов мужа и закатывала сцену от какой-нибудь инородной соринки или чужого запаха.

Иван, совершенно лысый, морщинистый, ерзал слоеным затылком по прохладной коже дивана и, как прежде, улыбался, теперь уже металло-керамическими зубами. Однажды Зося в нарушение всех многолетних правил семейных стычек, войдя в раж, швырнула в Ивана скомканный пиджак — голова Ивана с лету окуталась пиджаком. Он прогудел сквозь ткань:

— Ну, бу-удет! — и вдруг: — Бу-у-у... — бульканье, хрип. Иван сполз со спинки, начал царапать сучковатыми пальцами кожу на сиденье.

— Попридурайся, попридурайся! — вздорным голосом продолжала сцену Зося.

Но когда белая майка мужа вдруг стала серой от мгновенного пота, она сдернула пиджак с головы Ивана и увидела чужое злое лицо со стиснутыми зубами и надвинутыми на удивленные глаза бровями. Он еще мычал, пытался вдохнуть, но вдох не получался...

Зося так дико, животно закричала, что соседи поняли — это уже не игра, и все, кто был дома, выскочили к Зосе.

Когда скорая приехала, Иван уже умер, и лицо его из злого разглядилось в спокойное и душевное, каким и знали его соседи многие годы.

Зося пыталась покончить с собой. Долго лечилась. За короткое время постарела и лишь утешала себя тем, что скоро, может быть, увидится с Иваном там... Конечно, если он ее простит и примет.

Марта как будто только временно постарела. Серая скорлупка увядания, покрывающая ее облик, вдруг растреснулась и осыпалась, разорван-

ная неведомой силы и живительности соками, которые невесть откуда возникли в ней, омолодили ее и вернули утраченные силы.

Ее хрящеватое сухопарое тельце выстурилось. На своих коммунальных сожителей она смотрела отстраненно, отодвигала их от себя холодным проволочным взглядом голубовато-матовых глаз. Здраваться она стала исключительно политовски, проюзывая фразу сквозь зубы, и как-то само собой возникло чувство, что вслед за произнесенным добрым пожеланием она затаенно накликала чертовщину.

И в одежде Марта омолодилась: джинсовый костюм, черный свитер-водолазка, кроссовки — летом. Зимой — куртка-дутыш и шнурованные меховые ботинки на рантованной толстой подошве. Весь этот «прикид» был удобен для суетной, мобильной жизни, которую и начала вести Марта. Из дома она уходила утром и приходила поздно вечером. И чем бурливее кипела жизнь в городе, тем дольше пропадала где-то Марта. Часто ее не было дома и ночью.

Рассекретил образ жизни Марты Натан Григорьевич:

— В банду вступила... — сказал он на кухне. — Саюдис... Паханы — Бомбергис и Мускене... Телевизор включите и увидите их рожи.

Действительно, депутаты Верховного Совета СССР от Литвы маячили на экранах каждый день. Бомбергис, похоже, сознательно ломая русский язык, масляным полуголосьем говорил о свободе и независимости литовского народа, о жутких гонениях и геноциде, о пакте Молотова — Риббентропа. Он почему-то прятал глаза, был похож на героя диккенсовского романа в карикатурной иллюстрации.

Ему вторила госпожа Мускене, женщина дородная, тугокровная, присадистая, у нее была квадратная нижняя челюсть с обратным прикусом.

Мелькали и другие воспаленные жожаки. И все они говорили о свободе и независимости.

Марта старалась не появляться на кухне вместе с соседями, но однажды она словно бы нарочно выследила мою тетю и сказала с уже явно проступившим акцентом:

— Елизавета Ефимовна, ви понимаете, какое настало время? Я думаю, ми не будем поминать прошлое время, я не намерена говорить о нашей

– той работе: ни вашей, ни моего начальника Натана Григорьевича, и вас прошу не помнить меня вместе с вами...

Тетя Лиза пожалала плечами:

– Мне некому говорить о нас, да и незачем. А ты, Марта! – прорвалась в ней та деревенская природная прямолинейность, которая была главной чертой ее сестры (моей матери), – могла бы и не выкатать. Мы, считай, почти полвека на этой кухне, и вроде бы ни я у тебя, ни ты у меня из кастрюль не воровали! Чего ж мы теперь-то делить будем?

Марта не ответила. Она посмотрела на тетю Лизу совсем уже блеклыми, как тогда перед выстрелом в убегающего собрата, неживыми глазами. Как-то странно улыбнулась, отрешенно и обреченно, словно вынесла себе окончательный приговор, а изменить его нет уже ни сил, ни желания. И, выходя с кухни, полуобернувшись, утвердительно произнесла:

– Я думаю, ви поняли...

Дальнейшие их отношения были на уровне: «Лаба дена». – «Здравствуйте, Марта».

Тетя Лиза прошептала их разговор Натану.

– Да она ж бандит! – загремел Натан. – Она ж крови хочет. Она ж вкусила крови и крови хочет, она кровавый наркоман!

– Тише, тише! Кругом уши, – шипела тетя Тося.

– Бандиты, даже у нас бандиты! – уходил в тоску и скверное настроение Натан Григорьевич.

Благочинная жизнь большого города была скомкана. Словно палкой в кристальное блюдце родника, на холме Гедеминаса взбаламутилась тина с песком. Ржавью и серой полосатой рванью забурлила доселе прозрачная струя, и не видно стало пульсирующего живчика студеной светоносной воды.

На центральной площади города перед зданием Верховного Совета зачидили ночные костры, и толпы с плакатами на русском и литовском языках, сменяя друг друга, круглосуточно требовали свободы и независимости. Молодые белобрысы литовцы, в одночасье ощутив в себе «национальную идентичность» и воспылав «национальным самосознанием», орали до охриплости глоток в высокие окна серого здания: «Доло-ой! Оккупанты, во-он из Литвы!»

И моя тетя, «оккупант» с сорокалетним окку-

пационным стажем, глотала таблетки и плакала очередной порцией бессильных слез.

– Лизочка, – как-то вечером не выдержала тетя Тося. – Ты, наверное, тоже думаешь, почему мы не уедем с Наташей в Израиль? Таки я отвечу! Кому там нужны наши несвежие остатки. А он идейный майор кегебе! Для него Родина не кошерная еда, он слезами плачет по прошедшей жизни, он свое еврейство променяет скорее на Сибирь, чем Иерусалим.

– Тося, ну почему я должна так думать! – обиделась тетя. – Ты мне вбиваешь в голову свои мысли и с ними же споришь!

– Лизочка, прости, но сейчас все так думают и даже говорят: раз евреи, значит, у нас есть хороший запас... А это не так – не все евреи живут чужой мечтой!

– И слушать не хочу! – возмутилась тетя. – Тебя ругать надо, а не убеждать!

Вечером постучал Натан:

– Лизавета Ефимовна, Лизочка, ты прости нас и мою Тоську. Она плачет и говорит, что обидела тебя и ты ее не хочешь глядеть...

И тетя говорила Натану, что она никогда так не думала и не думает, а если они будут каждую минуту говорить ей об этом, то начнет так думать.

Тося слушала в конце коридора из-за двери, и, когда Натан сказал, что отсюда он уедет только на Каролинишки (кладбище), она, всхлипывая, вышла из квартиры, в обхват обняла мою маленькую тетю, приговаривая:

– Он таки сделает это дурное дело, а я как без него!

И, возвышаясь над тетей, мочила ее седую укладку безудержными слезами.

Потом они пили чай с наливками и настояками. Впрочем, Натан отодвинул чашку и опрокидывал тонкие крохотные рюмочки в треть глотка без чая. Тетя Тося, счастливая от того, что о них соседи не думают плохо, раскрасневшаяся и веселая, рассказала смешную историю о мяснике, который уснул за прилавком, и перед его головой какие-то хулиганы поставили табличку с надписью: «Голова козла. Бесплатно!»

Так они успокаивали себя. Но надвигалось что-то неведомое и жуткое. Все, что творилось вокруг, не поддавалось давно устоявшейся логике. Жизнь вокруг становилась чужой, холодной, непредсказуемой.

Первый месяц зимы был злым — малоснежным, морозно-ветряным, часто шурхала по голым веткам лип снежная крупа, брусчатка покрывалась ледяными островками. Холм Гедеминаса, облысевший и съездившийся, с редкой проседью скупого снега, чуточку оживляемый разве что редкими прострелами зеленых елей и елочек, багровел на макушке своей вечной башней, на которой уже мерз на прихватистом ветру национальный литовский флаг...

С вечера холм вместе с городом уходил в темноту: разбитые прожектора не подсвечивали башню, как раньше, и на улицах города из-за экономии не горели фонари.

Я поднимался по проспекту уже переименованного Ленина к площади его имени. У здания консерватории, светло-серого, в отличие от других, темных, движение по улице было перекрыто двумя гаишными «Волгами». На площади, на проезжей части дороги, в сквериках возле памятника стояли организованные толпы людей. Именно толпы — колоннами их назвать нельзя, потому что люди отделялись от одной толпы и встраивались в другую. Переход из одной толпы в соседнюю был больше из любопытства, нежели по идейным признакам. Почти в каждой такой толпе были ораторы, одни говорили по-литовски, другие — по-русски.

Раздвигая людей, на площади двигался к памятнику Ленину тяжелый десятиколесный кран. Он измял красную дорожку из тертого кирпича, исковеркал гранитный поребрик, огораживающий клумбу, погнав солярочной вонью, остановился метрах в десяти от памятника. Шофер и помощник выдвинули и закрепили две упористых лапы сзади машины. Стрела крана поползла вверх и нависла крюком над головой Ленина, расстрелянного ночью черной краской пьяной компанией студентов Литовского университета.

Металлический трос в три обвива опоясал туловище памятника, крюк короткими рывочками натянул трос. Стрела крана напряглась, слегка прогнулась, лапы, скрипнув, вмялись в грунт, разрывисто хрястнув, монумент задрожал, оторвался в коленях от ног, наклонился ниц, тяжело вращаясь и покачиваясь, повис на тросах. Кран с постреливающим скрипом отодвинул скульптуру от постамента с ополовиненными ногами и не тормозя швырнул покалеченное туловище Ле-

нина на красную площадку сквера. Вытянутая рука вождя воткнулась в грунт, от многотонной тяжести сломалась в локте, голова ткнулась в кирпичную посыпку.

Вопли, свист, крики, хлопки.

Я краем глаза видел, как справа и слева от меня беснуются молодые люди. Это был экстаз, вождение, перешедшее в оргазм. Девушка с распущенными желтыми волосами, бледная, с открытым мокрым красным ротиком, полизывая надутые губки шустрим язычком, издавала не крики, а вопли, переходящие в хрип, она стискивала сухонькие кулачки, прижимала их к груди и перетаптывалась на месте тонкими ножками, словно собиралась куда-то бежать. Ее замутненные голубые глаза горели каким-то интимным оголенным огнем.

«Уже раза два кончила, — хамовато подумал я. — И этот вон, рядом с ней тоже...» Парень, рослый, волосатый, с раздвоенным на кончике носом, яростно жевал резинку, раздувал ноздри и сопел. И никто из них не глядел друг на друга и на толпу, а только на поверженную статую хрестоматийного вождя, и кайфовал.

Мне было жалко свою сорокалетнюю память, где был идеальный Ленин, а вместе с ним свое детство, юность и взрослость, и детство и юность Сашки и Женьки. Ведь его имя было впаяно в нашу жизнь навечно, а потому кровно природно, и не думали мы — нужен нам Ленин или нет. Как не думали, нужна нам мать или отец.

И еще было обидно, что никто не заступился за него, за этот, как мне казалось, вечный на этой площади памятник.

Хотя, с другой стороны, выступить против этой оргазмирующей толпы с холодными рассудочными словами упреков было бы самоубийственно. Это все равно что сунуть руку в котел с клокочущим паром.

На спину памятнику вскочил литовский мужик и под накатистые завывы толпы стал колотить молотом по затылку, спине и плечам вождя мирового пролетариата. «Вздымайся выше, наш тяжкий молот...»

Летели искры, сыпались осколки, агонизировала толпа. Подумал о мясниках-людоедах, разделяющих тела... Провинтился сквозь крики, толчки, запах водки и пота на проспект, а рано утром в Вильнюс вошли танки.

Я твердо решил завтра же уехать из этой ошалевшей, независимой страны.

Ночью не спалось, вышел на кухню и услышал странное редкое гуханье с чередованием какой-то киношной пулеметной дробы. Звуки прорывались из-за реки, оттуда, где был телецентр с башней. Небо лизали широкие всполохи, и даже казалось, что выдергивались из этих звуков отдельные людские голоса.

На кухню вышел Натан Григорьевич покурить.

— Желудок, желудок... — сказал привычно и, кивнув на окно, сдавливая голос, продолжил, стараясь быть безразличным: — Приятель звонил, бой у телецентра идет, натурально стреляют по людям... И ты до войны дожил...

На кухню потянулись соседи: надрывно кашляя — тетя Тося в желтом китайском халате, моя тетя — в синем фланелевом, тетя Зося — в шелковом до пят, за ней — бабушка в меховой безрукавке, накинутой на серый оборчатый сарафан.

— Неуж-то снова война! — выдохнула Зося и заплакала, тут же вспомнив Ивана и свою молодую жизнь с ним.

— Не будет войны, — уверенно сказала бабушка. — Господь уж испытал людей большой кровью.

— Ах, пани Ядвига, вы со своим Господом! — раздраженно сказал Натан Григорьевич. — Вы про него вон этим бандитам расскажите, — он почему-то кивнул в глубь коридора, и все поняли, о ком идет речь. — Сколько натворили и творят, а где перст наказующий?

— Всеу свое время... Всеу свое время... — перешла на шепот бабушка. — Ничто без божьего промысла на земле не делается... Не ропщи, Натан Григорьевич, а принимай...

— Я и принимаю, пани Ядвига! Только не конец это, а только начало.

— Не ропщи, Натан Григорьевич... — шептала бабушка. — Все сроки расписаны, ничего нового нет, все ведомо... — Она, мягко шаркая, первой ушла с кухни. Ушли Тося и Зося. Я остался с Натаном. Он тер ладонью живот и морщился — язвы заболели хором.

— Нервы, нервы, — страдальчески говорил он. — Это вон бандитке все нипочем, — опять кивал в темноту коридора. — Я секрет тебе скажу... Хотя какой это секрет, но ты даже между собой не говори... Марта у бандитов инструк-

торша. Да-да, я узнал, и в меня плюнули из прошлого! У них в Саудисе боевики есть, и она их обучает стрельбе. Свою именную винтовку Мосина, из которой она лесных бандитов успокаивала, унесла туда, на ней учит. Сколько она положила в войну и своих и чужих — не перечесть! И в партии, и награды боевые, и винтовку на вечное хранение вручили... Я таки ее командир был, я о ней все знаю, вот она и молчит обо мне и твоей тете. Эта банда архивы будет рыть, а там наш послужной список... Себя она сумеет выкрасть, а вот мы...

— Так вы ж с фашистами воевали! — искренне вырвалось у меня.

— Именно, что воевали, а теперь они к власти приходят. Сгрызут они, Сережа, нас, ох, как сгрызут!

На следующий день только и говорили об убитых у телецентра. Жертвы — мирные литовцы, убийцы — советские десантники.

Через неделю неведомыми путями пробилась в эфир новость: стреляли в толпу скорее всего не военные, а неведомо кто из оружия времен Отечественной войны и в том числе, судя по найденным гильзам, из винтовки Мосина...

Ехал в Москву в полупустом вагоне. Проводница, сунув билет в ячейку кожаной сумки с номером места, сказала как-то безразлично:

— Последний раз, наверное, так едем. Скоро только по загранпаспортам, нас уж предупредили...

Снарядил непросохшим бельем вагонную постель и уснул до Белорусского вокзала.

Через месяц от тети пришло письмо: «Живем весело, — писала она. — На улицах толпы людей, митинги, в магазинах пусто. У меня два важных события: в ЦК на совещании мне вручили знак «50 лет в партии». Вручал секретарь ЦК КПСС О.Сенин. Дали премию 50 рублей. И второе событие: нас всех выселяют из квартиры. Отыскался наследник хозяина этого дома. Живет он где-то в Америке.

Так что буду перебираться на Родину, если, конечно, вы не против...»

И вот я последний раз в Вильнюсе. Новый владелец дома выдал каждой семье компенсацию. Бабушка с Зосей перебрались к внучке в Тракай. Натан с Тосей купили квартиру в новом районе города, а моя тетя через родных

вселилась в коммунальную квартиру на первом этаже панельного дома в областном центре России. Это все, что она смогла купить на доллары, выданные ей хозяином дома.

Пожитки тети уместились в один контейнер.

Марта оставила свою комнату раньше всех.

— Съехала, не попрощавшись, — сказал Натан.

Но простилась Марта только с бабушкой. Дали Марте отдельную квартиру близко к центру города.

— Заслужила... — многозначительно констатировал Натан Григорьевич.

Прощались на кухне. Сдвинули стол к центру. Выпили по рюмочке, поглядели друг на друга и заплакали. Разом охватив все то время, когда я в разные годы гостил здесь, и этих людей, проживших каждый свою жизнь по-своему, их незаметно пришедшую старость, а вместе с тем и ненужность приходящему новому миру, я понял, что не увижу их никогда на этой вот кухне с четырьмя столиками под разноцветными клеенками, не почувствую особый хлебно-котлетный запах, за десятилетия пропитавший эти тяжелые пористые стены, не буду, пусть на короткие промежутки, участником их жизни.

Поцеловались со всеми по очереди в прихожей, тетя Гося всхлипывала и кашляла, Натан говорил:

— Ничего, ничего, бандиты долго не протянут...

Зоя макала платочком глаза и пыталась улыбнуться. Бабушка была спокойна, она всплакнула, но как-то скоро пришла в себя. Перекрестила нас, поклонилась, сказала обреченно:

— Значит, время настало камушки разбрасывать, — и сутуло, обыденно, узнаваемо прошаркала в комнату, уже запруженную узлами и коробками.

Мы с тетей вышли в подъезд, дверь захлопнулась, и скоро тот мир растворился, словно кусочек сахара.

— Лизу-то как жалко, — часто говорила мне мать. — Жизнь прожила как барыня, а теперь? Это мне не обидно, я всю жизнь ломила внагнуг да ела вприжим. Жили порознь, а теперь рядком поплетемся к взгорочку с крестиком.

Через три месяца «учебки» сына направили в Чечню.

Жена, слглатывая слезы, зло высказала:

— Если с ним что случится — я тебе никогда не прощу!

Я был виноват в том, что не ходил в военкомат и не просил направить сына в спокойные части, а может, и совсем «отмазать» от армии. Мог бы я это сделать? Наверное. Я был знаком с военкомом и начальниками отделений. Писал о них очерки, и они даже намекали, что, мол, не надо там служить, — бойня! Но сын категорически отказался от моей помощи и пригрозил, что сам будет проситься туда. Учился он в техникуме, занимался спортом. Я гордился — в меня! К армии стал перворядником в легком весе. В армии спортрот уже не было. Его призвали в воздушно-десантные войска в Рязань, и мать успокоилась: Грозный от Рязани далеко.

Сын часто писал. Накануне отправки в Чечню позвонил и сказал, что едет в командировку. Мы с женой поняли куда, и жена высказала мне те обидные слова...

Два письма получили с интервалом в десять дней. Сын бодрился, успокаивал нас, особенно мать. Третье письмо пришло через месяц из Ростовского госпиталя. Почерк незнакомый, волнообразный, словно листок из школьной тетради плавал под ручкой пишущего: «Легко ранен. Уже пошел на поправку. Недели через две, может быть, выпишут...»

— Весь в тебя, — сказала жена. — Будет страдать, а правды не скажет! — и через день уехала в Ростов.

Вечером я получил от нее телеграмму: «Срочно выезжай сыну...»

Словно попал в фильм о войне. В зеленом дворе госпиталя, обнесенного высоким кирпичным забором, гуляли перебинтованные молодые люди. Они сидели на лавочках, ходили по тропинкам и газонам. Руки и ноги в гипсе, костыли и клюшки, хромая и шаркая. Белые шары забинтованных голов, дым сигарет и тягучий кашель.

Назвал в регистратуре фамилию.

— Третий этаж, седьмая палата, — ответила сестра. Мне показалось, как-то пристально поглядела на меня.

И — словно чужая жизнь, только с родными лицами. Сын на высокой шарнирной койке. Обтянутое коричневой кожей лицо с выпирающими скулами, провисшими щеками и чужеродным острым носом. Улыбнулся кроваво-красными деснами без передних зубов. Губы в черных коротких швах, испятнаны зеленой. Глубокие ямки на плечах между лопатками и ключицами, в них зримо торкалась в белую, влажную кожу кровь.

Жена, постаревшая, с серым налетом на некогда ярких щеках, глядела воспаленно и не улыбочиво на меня. Вот, мол, погляди, что ты сделал с сыном!

Вспомнил ее упреки.

— Батя! — сказал сын и заплакал. Он плакал по-детски взрыдливо, стараясь задавить всхлипы, но от этого старания они, наоборот, дробились на частые и безудержные. Он хватывал воздух коротенькими порциями, а выдыхал сплошным горячим выдувом, отворачивая голову к стене.

Жалость и беспомощность охватили меня. Что я мог сказать, кроме слов успокоения и утешения? И я говорил эти слова, надеясь, что они, словно самые подручные лекарства, на время уймут боль сына.

Он наконец подавил плач. Покосился на соседние койки, их в палате было еще четыре, но только на одной лежал раненый. У его кровати стоял штатив с гирляндой бутылочек, из одной тянулась трубка к жилистой худой руке. В ополовиненной бутылочке всплывали мелкие бусинки пузырьков — капельница. Раненый спал или делал вид, что уснул.

Сыну было стыдно за эту внезапную, несдержимую слабость. Мать выпирала его лицо ватой, но сын отфыркивался, крутил головой, знакомо по-ребячьему мычал:

— Ну-у, ма-а-ама!

У него было пробито легкое, он тяжело дышал. Изменился и голос — в нем сухим тальком хрустела легкая хрипотца.

Хирург сказал при сыне бодро, что поставим на ноги, будет бегать и целоваться с девочками. У себя в кабинете, словно бы извиняясь за бодрость, говорил о том, что половину легкого не удалось спасти, лечение будет долгим.

Жена плакала.

Сына наградили орденом Мужества. Полгода

мытарился по госпиталям. Кое-как подлечили, и в двадцать один год инвалид локальных боевых действий был возвращен в мирную жизнь.

Говорят, от долгих страданий люди добреют. Может быть, с годами, к старости — да. Но сын стал не улыбочивым и злым. Он не мог смотреть телевизор. Кашляя и задыхаясь, шарил рукой ингалятор, не отводя глаз, блестящих от близких теперь слез от экрана, поносил срамными словами депутатов, политиков, предсказателей, патриотов и демократов.

— Их бы, сук, в Грозный, — кричал он. — Я бы посмотрел, какие кошачьи песни они запели бы. Подлюги!

Я, как мог, успокаивал его. Говорил о высших задачах, о Родине.

Сын смотрел на меня с удивлением, переспрашивал:

— Ты что, серьезно так думаешь? Ты, отец, прикалываешься, что ли?

И чем серьезнее, как мне казалось, я говорил, тем злее сын отрицал мои слова. Он не верил, что я говорю искренне.

— Значит, отец, ты оправдываешь то, что меня Родина, как ты говоришь, сделала инвалидом, никому не нужным, отработанным шлаком? Ради чего?

— Но ты же принимал присягу, — отвечал я. — А на войне, к сожалению, не избежать жертв.

— Я присягал Родину защищать, а не лезть завоевывать эту средневековую черноту! Кто меня туда послал? Зачем?

Я опять говорил, что если бы... то...

— Знаешь что, отец, я тебе скажу про Родину. У тебя Родина — это долгая память о хорошем. Это тебя держит. А у меня о хорошем короткая память: мать, ты, школа и друзья, а дальше — дерьмо несусветное, вранье и подлость, и я не верю этой Родине, не верю в ее правоту, справедливость! Хотел бы верить как ты, но не могу!

Я смотрел на сына и думал: «А Сашка, останься он живым после Чехословакии, так же бы говорил о жизни?»

— Когда ты родился, — сказал я, — у тебя уже было имя Шурик, Сашка, Санек. Я тебе рассказывал о своем погибшем друге. Иногда я думаю, что бы сказал он в сложные моменты жизни.

— Я тебе скажу, отец, что бы сказал мой тезка, твой друг, воротись он оттуда без глаза. Он

бы спросил громко, может быть, на всю страну: «Ради чего это?»

Он и сейчас задает тебе этот вопрос, только ты не слышишь. Где сейчас Чехословакия? Афганистан? Чечня? Твоя любимая Литва? Да все! Сколько ребят положили! А за это? Пошли вон, недочеловеки! — сын побледнел, задрожал: — Так вот я скажу... Будь у меня возможность, свалил бы я из этой Родины куда глаза глядят!

И снова я говорил, но, видимо, неубедительно, что везде хорошо, где нас нет. В чужих местах свои беды, и везде человек, если имеет душу, мучается от несправедливости мироустройства...

Сын начинал кричать, кашлять и плакать. Жена ругала меня, вводила от сына, зло, вполголоса высказывала:

— Ты что, не понимаешь? У него же нервы измотаны, психика нарушена, а ты как бревно! За чем споришь?

Я отвечал, что, если не спорить, он дойдет до страшного. «Хотя, — мелькало в голове, — что может быть страшнее, чем ненависть к родному?»

Однажды, зайдя в комнату к сыну, я почувствовал какой-то незнакомый сладкий запах. Дверь на балкон была приоткрыта, но аромат неведомого мне происхождения не исчезал на ощутимом в комнате продуве уличного воздуха. Удивительно, но сын был весел, оживлен, говорлив. Таким он бывал до армии. У него появились забытые мной спортивные движения плеч, корпуса, рук, словно он пришел с тренировки и не успокоенные еще мышцы продолжали заученно сокращаться. Сын ходил по комнате, покручивал плечами, делал «нырочки», как на ринге, иногда слева-справа наносил короткие удары по воздуху — бой с тенью.

— Влюбился или к тренировкам приступил? — спросил я.

— И то, и другое, и третье, все в одном флаконе, — с подъемом отвечал сын. — Оказывается, отец, ты прав, Родина иногда бывает и хорошей...

Мне не хотелось снова вязнуть в будоражащем споре, и я спросил о чужом запахе.

— А это лосьон новый, подарили, — отмахнулся сын и шире распахнул дверь на балкон.

Запах «лосьона» стал через день погуливать в комнатах.

Как-то вечером зашел приятель из редакции.

— Я на минутку, завтра вылазка на шашлыки, давай с женой и сына прихватывай. — Он стоял в прихожей, собрался было уходить, но потянул носом, странно посмотрел на меня, спросил: — Ты вроде не куришь?

— Здесь никто не курит, — удивился я. — Может, из коридора тянет.

— Проводи-ка меня, — попросил приятель.

Мы вышли в подъезд.

— Ты знаешь, что у тебя в квартире шалыгой пахнет?

— Не понял?

— Ну, шалыга, шмаль, дурьтрава, планк, мари-хуана... Любое определение на выбор, суть одна — наркотик! — Видя мою оторопь, он продолжил: — Я в Таджикистане служил, баловались иногда. Этот запах я из сотен отличу...

— Сашка! — выдохнул я

— Это между нами, — сказал приятель. — Жене не говори пока, а с ним побеседуй. Дело такое — затянет, не вырвется.

Я зашел к сыну. Пахло «лосьоном». Сын глянул на меня, словно почувствовал:

— Что, долгий разговор будет? — спросил, отвернувшись.

Худое, безмускульное тело, тяжелое дыхание, при вдохе проступают плоские серые ребра. Опять стискивает жалость, слова не идут. С трудом выдавливаю:

— Лишь бы мать не знала, добьешь ее окончательно...

Я понимаю, слова не избавят его от этой пагубы. Я чувствую бессилье, но пытаюсь схватиться за соломинку, спрашиваю наобум, с ожидаемой на авось надеждой:

— Давно ты... куришь? Бросить уж никак нельзя?

Сын долго молчит. В его легком, посвистывая, продувается жадно схваченный воздух.

— Бросить можно, — тихо, почти шепотом говорит он. — Но мучения начнутся снова. Я не могу их выносить...

Через полгода сын ушел в Николо-Шартомский монастырь. Год прослужил трудником, потом принял постриг и стал иноком.

В Святом писании сказано, что ставший монахом семи ушедшим поколениям из своего рода грехи снимет...

Лет через десять, навещая родителей Шурика, я вдруг узнал от дяди Володи новость. Как всегда пьяненький, он приглушенным голосом поведал мне, что к их дому подъезжала машина, а из нее вышла негритянка с пацаненком, и мальчишка этот был не такой густой черноты, как мать, а наполовину осветленный, главное же — у него были голубые глаза и короткопалые руки. Прошлись они взад-вперед перед домом, сели в машину и уехали...

— Ведь это ж внучонок наш был, сын Саши, — дядя Володя всхлипнул. — Оформить бы надо мальчика как внука, а то живет где-то в песках. Африка, мать ее...

— Так что ж ты не подошел к ним? — удивился я.

Дядя Володя обреченно махнул рукой:

— Да меня не было дома. Соседка, Катя, рассказывала! Где их теперь в Африке-то найдешь?

— Вот, вот, он и мне целую неделю об этом говорит, — вступила в разговор тетя Мотя. — А я не верю-та. Катю спросила, а она полуслепая, дальше носа не видит-та: то ли было, то ли нет...

— Было! — прогремел дядя Володя. — Это мой внук приезжал, а ты не веришь!

Тетя Мотя заплакала и ушла с кухни, а потом, прощаясь, шепнула мне:

— Совсем измаялся-та, пусть хоть так думает, лишь бы полегче ему было...

Я уже вышел к знакомой калитке. Но тут тетя Мотя, как всегда знакомо-тревожным голосом, остановила меня:

— Сергей, подожди! Самое-то главное забыли! Володя, где ты?

Дядя Володя вынес завернутый в газету сверток.

— Это его тетради, — сказал он, протягивая сверток. — Всякие записи. Там и о тебе есть. Сохрани. Мы-то что, а ты журналист вроде. Может, чего и напишешь о нем...

В горле у него перехватило, и он слабо махнул рукой с почти уже стертой наколкой заходящего солнца.

В свертке были две тетради. Первая — черная общая, провитая сбоку металлической пружиной.

На первой странице сверху — куплет из песни:

*Жить и верить — это замечательно,
Перед нами небывалые пути.
Утверждают космонавты и мечтатели,
Что на Марсе будут яблони цвести...*

Посредине страницы крупно — «Дневник». И сбоку год — 1967. Первая запись в дневнике:

«Я вдруг понял, что наша жизнь состоит из кубиков. Кубики дней, недель, месяцев, лет. Они разной величины. Малые кубики — дни, чуть больше — недели, еще больше — месяцы, самые большие кубики — годы. Из них составляется жизнь.

Кубики — это события, которые происходят с нами и которые влияют на нашу жизнь. В кубик дня может войти единственная встреча с кем-то: человеком, книгой, фильмом, узнавание нового, потеря дорогого и т.д. Этот кубик прислоняется к кубику следующего дня, также состоящего из подобного — и вот семь кубиков недели. Тридцать малых кубиков месяца. В месяце остается всего одно событие — главное. Они составляют двенадцать событий года. Это большие годовые кубики.

Малые кубики теряются, но не пропадают большие. Обернитесь на прошедшее и увидите россыпи малых и средних и упорядоченную конструкцию из больших.

Моя жизнь сложена из девятнадцати больших кубиков».

А дальше записи по дням, неделям, месяцам... Лес, речка, кино, училище, Новый год, елки, книги, драки. Сначала подробно описывал Шурик все, что происходило в нашей уличной жизни. Потом все короче и короче, и к окончанию училища некоторые дни отмечались лишь фразами.

«Сегодня в художку шел с Ларисой. Она попала лицом в паутину. Испугалась, срывала паутинки с лица, притопывала ногами и фыркала».

«На уроке рисунка от преподавателя В. несло перегаром. Он пил воду из графина и после такой подзарядки кричал, что его уничтожает бездарность студентов».

«Я целовался с Милой. У нее жесткие губы и холодный кончик носа».

«Сергея опять уехал в Вильнюс к тете. Скучно без него».

«Прибыли на калым в совхоз им. Фрунзе. Поселили в доме секретаря парткома. Он с семьей живет в городе и каждый день приезжает на работу на раздрыганным газике. Оформляем красный уголок и Дом культуры».

«Пашем уже неделю. Наглядная агитация, спим на диванах и раскладушке. На стене часы в «гробу»: футляр с дверцей и латунная гирька. Часы знают своего хозяина — Федора Федоровича. Он приезжает из города рано, будит нас, и часы начинают отстукивать: «Дядя Федя мур-ло. Дядя Федя мур-ло...»

«Отец с матерью ездили на родину в Молдавию. Привезли канистру красного вина. Заперли в шифоньер. Ключ не подберу...»

«У Сереги точно такой же шифоньер и ключ...»

«Отливал из канистры месяц. Для уровня добавлял кипяченую воду...»

«Скандал. Убати — юбилей. Разлили вино из канистры в графины. Поставили на стол. Гостей было много. Отец, как всегда, начал хвастать. Особенно хвалил молдавское вино. Пили из граненых стаканов (как в Молдавии). Сосед Витя сказал, что это вода. Все согласились с ним. Отец выпил и стал ругать Молдавию за то, что вино выдохлось, при этом подозрительно смотрел на меня... Стыдно. Перед армией признаюсь...»

«Съездить бы в Италию. Флоренция. Боттичелли. Рим. Венеция. Пенэнр».

«Пошли с Сергеем за костями на М-К (мясокомбинат). Семь утра, а мы уже сотые. Копче-

ных не привезли, а были простые, красно-серые, с клочками мяса и свиные головы. Купили по 5 кг костей и по четверти головы. В моей части головы был свиной глаз. Он был похож на свинцовый шарик. Я его нарисовал, но долго не мог оживить, выгнать из глаза смерть...»

«Сергея затащил меня в спортшколу. Хотел в бокс, как он, но я не люблю эти разбитые носы. Поэтому записался в борьбу. Стал качаться, дело нужное».

«На диплом придумал картину «Снегири». Запала в душу строчка: «И летят снегири, и летят снегири через память мою до рассвета».

Зимнее поле, в снегу убитые немцы и наши. Над ними на голых кустах алые снегири...»

«Показал наброски педу. Он сказал, что наших убивать не надо. Пусть будут одни немцы, а наших уже похоронили».

Я помню этот солнечный зимний день. Ваня, Валера, Толик и я — убитые немцы. Шурик где-то достал длинную армейскую шинель, из солдатской пилотки смастерил рядовую немецкую кепку, и мы по очереди надевали эту одежду и короткие сапоги (Шурик обрезал голенища у старых кирзачей) и ложились в рыхлый снег в Шурикином огороде. Он показывал, как надо лежать, как откидывать руки, поднимать ноги. Каждый из нас четверых сотворял не похожие друг на друга позы, а Шурик на больших листах карандашом, пританцовывая и сморкаясь, набрасывал наши убито-немецкие останки. Он присыпал нас снегом, Ваньку, худого и носатого, попросил высунуть как можно больше язык, вытаращить глаза и так полежать на спине, скрючив перед грудью руки...

Полдня мы создавали картину далекой войны. Замерзли до дикой дрожи, а потом грелись «Старкой» и соленой капустой.

И снова дневник:

«Проект диплома одобрили, но попросили убрать натурализм — Ванькины дикие глаза и безмерный язык. Убрал».

«Как целуется Г.! Аж в пятки отдает! Да еще царапается! Уф-ф!»

«Вызывали в военкомат. Прошел медкомиссию. Получу диплом, и заберут».

«Прочитал Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (этот парень мог быть и в нашей компании) и Андайка «Кентавр».

«Ни разу не был на море. Может, на флот попроситься?»

«Ура-а! Защитился на отл. Рекомендовали в вуз. Оставлю на после армии».

«Получил повестку. Через неделю — солдат!»

«Куба — да! Янки — нет! Черный раскаленный камень. Гладкая, влажная, горьковато-сладкая. Имбирь, шоколад и перец в одной упаковке... А в Африке, а в Африке, на знойной Лимпопо...»

«Половина парней с улицы уходят в армию. Сержа, наверно, в спортроту. У него первый разряд, и он перспективный мордобоец».

«Вот и все. Завтра вокзал. До скорой встречи».

Эту черную тетрадь Шурик оставил дома. А дневник продолжил в двух тетрадях, вложенных друг в друга и скрепленных железными скобками.

В нем много карандашных зарисовок: лица, спящие и смеющиеся, сценки из солдатской жизни — чистка картошки, с метлой на плече, висящий на турнике, стреляющий из автомата, марширующий на плацу.

И по дням — фразы, еще более короткие, чем в черном дневнике.

«Мукачево. Мука, больше ничего».

«Ничего страшнее, чем старшина-хохол, я еще не видел. «Вам не треба думать, вам треба выполнять. Я из вас гражданку вытрясу, она вам салом покажется...»

«Поступил в распоряжение замполита. Оформление клуба, плакаты, плашеты, призывы и лозунги — дело знакомое».

«Замполит — молодой выслужливый старлей. Строгий в дело и не в дело, а смеется, как пацан от анекдота, — в залив и до слез».

«Парни бегают, прыгают, стреляют, а я? «Дело Ленина живет и побеждает» — плакат метр на пять. Надоело».

«Каждую неделю от замполита увольнительная в город, за красками и кистями. Зеленый, заросший орешником, липами и каштанами городок. Есть красивые девчонки — диковатые и болтливые. Начинают хихикать от одного пристального взгляда. На рынке продают вино. Наливают в тяжелые пол-литровые граненые кружки...»

«Старшина при встрече: «Хитрован! Соскочил со службы. Хлопцы потеют, а ты дуру гонишь... Хитрован!»

«Сегодня снова встретил старшину. И опять: «Хитрован!» А я ему вдруг: «Товарищ старшина, я вынужден доложить замполиту о вашем отношении к воспитательной работе, о том, что, говоря вашими словами, — мы со старшим лейтенантом дуру гоним...»

Этот салод в морде лица изменился. «Да я пошутковал, а ты что подумал, шуток не понимаешь... Мир-дружба...» Я сказал, что тоже пошутил — не скажу».

«После круглосуточной недельной работы на 7 ноября понял, что все, больше не могу трафаретить. Сказал замполиту, что хочу в роту. Он мне тоже трафаретом: «Это служба! Надо честно исполнять свой долг в любом месте, куда тебя направит командование» и т.д.»

«При встрече сказал старшине, что хочу к ребятам. «Ты что, скаженный?» — ответил мне старшина».

«В очередном увольнении выпил в городе кружку вина и опоздал в часть на два часа. Получил трое суток губы и снова попросился в роту. На

сей раз уважили. Опять назвали дураком, и вот я в казарме».

«Старшина гоняет с пристрастием. «Ты ж мене пидманула, ты ж мене пидвела...» — припеваает он, приказывая в очередной раз тянуться на турнике или по-пластунски проползать в узкий полуметровой высоты лаз. Хохлина! жупанник!»

«На большом листе ватмана сангиной нарисовал старшину в парадной форме, с блеском в глазах, лицом греческого полководца, одержавшего очередную победу. Слегка уменьшил крепкие щеки и увеличил прищуристые щелки глаз. Скотал в трубочку и вручил старшине на День Советской армии.

Старшина с недоверием принял скатанный лист. Ожидая подвоха, протянул: «Что це за насквиль?» А когда раскатал, глазам своим не поверил. Не поблагодарив, быстро ушел. На следующий день, отозвав меня в сторону, сказал душевным голосом: «От жинки моей и диток — спасибо, и от меня тоже...» С этого момента служба моя пошла ровно и предсказуемо».

«Прислала письмо Лариса. Пишет, что простила и любит».

«Скоро ученья. Готовимся. Устаем».

Последняя запись.

«Приказано посторонних вещей при себе не иметь. Сереге не успел написать. После учений напишу...»

И рисунок. Солдат с вещмешком за спиной, стреляет с колена из автомата, а вместо пуль летят маленькие красные птички — снегири.

18

Старушки тихо сидели на теплом взгорке и слабыми глазами вглядывались в зареченскую бескрайность, далеко обрезанную острой неровностью очерченного предвечерним тускнеющим светом леса. И в этой невозвратной дали жила их прошедшая жизнь.

Верно, виделся им широкий разгул престольных праздников с разноцветным сатиновым сельским многолюдьем, когда сходились

из окружных деревень старики, среднелетки с семьями, с дородными, словно гусыни, бабами, облепленными по подолом разнокалиберной ребятней. Толпу перестреливающихся взглядами парней и девок.

Тут и выпивка, и хороводы, и пляски, с рваной схваткой двух-трех гармошечных зазывов: одна гармонь поведет широко и ровно, другая вклинится, третья подтянет басом невероятной долготы, а потом хриповатыми задохами скомкает переливы первых двух и сама скорой присядочкой, звонкими рядками звуков заставит самых увалистых парней единым вытолком выскочить в круг и куражисто затопать начищенными до глянцевого скользи хромачами по серой плешине разгульной площадки. А там и две первые гармошки опомнятся и встроятся в лад третьей выскочке, и вот уже в три духа рвут меха летний воздух. Звуки выбиваются за околицу и прижимаются, затихая, к дальним зареченским лугам — туда и смотрят две старушки, и в дальних туманах слушают памятью вечные для них переливы молодых гармошек, а гармонисты спят под заросшими холмиками уже беспризорных могил.

Дядя Володя в последние три года жизни стал копить деньги на поездку в Африку. Он устроился работать чистильщиком обуви на вокзале. У него был крохотный закуток в огромной туалетной комнате. Он соорудил верстак из дерева, на который ставили ноги посетители, и ловко шустрил двумя щетками: натирал до блеска туфли, ботинки, сапоги.

Пенсию он переводил на сберкнижку. Купил в книжном магазине карту Африки и, водя коротким пальцем по пустыням и городам континента, произносил застревающие на русском языке названия: Киншаса, Могалишо, Нджамена... Сплюнув и магюгнувшись, убирал карту и думал, как же добраться до этой неведомой земли.

Сторож на вокзале, которому дядя Володя поведал о своих печалях, посоветовал ему написать письмо в Министерство иностранных дел.

— Да как же я напишу, когда кроме писем из зоны ничего не писал?! — сорвался дядя Володя.

— А вот так прямо и напиши, как мне рассказывал. Там люди умные, разберутся, — уверил его сторож.

И дядя Володя написал. Что он наворочал на

двух листах, вырванных из школьной тетради? Трудно сказать, но только через месяц приехали за ним на черной «Волге» два неулыбчивых человека прямо на вокзал, заткнули крепкими фигурами дверь каптерки, сунули в лицо дяди Володи строгие красные корочки и пригласили в машину.

В областном КГБ очень вежливый человек выслушал дядю Володю и посоветовал не пачкать память о героическом сыне глупыми действиями.

— Я знаю, что мой сын герой! — отвечал дядя Володя. — Только по кой его в эту страну на смерть послали? А я не могу в Африку съездить!

Вежливый человек, чистый до скрипа, бритый до глянца, пахнувший каким-то мутным, сладковатым запахом, явно не «Шипром», вдруг засмеялся долгим, несдержанным смехом.

— Владимир Степанович, — сказал он, так же внезапно посерьезнев. — Вы мне симпатичны своей прямоотой, но подумайте, как вы в этой самой Африке найдете эту женщину? Как ее звали? Не знаете. Где училась? Тоже. В какой африканской стране живет или жила? А может, она уже давно не в Африке? То-то и оно... Но я даю вам слово — по своим каналам попытаемся узнать, но в успехе не уверен. Мы вам сообщим. А пока живите и больше не пишите таких странных писем. Договорились?

Что оставалось делать дяде Володе? Понял, подчиняюсь!

А потом зачала перестройка. Накопления дяди Володи превратились в пыль. Он сник и стал быстро стареть. Никаких вестей из Африки не пришло. Последней попыткой увидеть воображенного им и взлелеянного памятью о сыне внука было написать письмо Горбачеву, но сил уже не было, руки тряслись, глаза ослабли, и все наколотые символы на его теле превратились в выцветшие неровные кляксы.

В последние недели он стал по ночам разговаривать с сыном: просил назвать адрес внука, плакал. Тетя Мотя сидела рядом и уговаривала его не тревожить сына.

Дядя Володя умер ночью, отвернувшись к стене, по которой в темноте скользили желтые полосы от фар проезжающих по дороге машин. Ему казалось в последних мгновениях, что он едет по африканским пескам к своему голубоглазому африканскому внуку.

Их нет на земле. Они живут в моей памяти. Я уже сложил шестьдесят больших кубиков.

Каждое лето в июле солнце на моей родине купается в маленькой речке.

□

Павел Леонидович ПАРАМОНОВ

родился в 1949 году в с. Подолец

Гаврило-Посадского района Ивановской области.

Окончил Литературный институт имени А.М. Горького.

Прозаик, журналист.

Автор книг: «Огородники» (1985), «Урок музыки» (1986),

«Повести» (1991), «Души летящие» (2010).

В журнале «Север» публикуется с 1984 года.

Член Союза писателей России.

Живет в Суздале.

